

(K) №22
24-1

1981

Россия и действительность

Михаил Хейфец

РУССКИЙ ПАТРИОТ ВЛАДИМИР ОСИПОВ

Предисловие и примечания Эдуарда Кузнецова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первую книгу Михаила Хейфца — «Время и место» — я прочел с интересом, но в то же время и с пониманием, что это интерес к каше, в которой сам варился, постороннему вовсе не обязательный. И за чтение рукописи об Осипове (вторая глава второй лагерной книги Хейфца) взялся без особого энтузиазма. Ах нет — прелюбопытно многое, даже и не очень профессиональные рассуждения о национализме. Да и исторический интерес наличествует.

В рукописи есть кое-какие фактологические погрешности, их было бы легко устраниТЬ, но тогда память автора (а рукопись написана в лагере по горячим следам разговоров, пропала и по памяти восстановлена) выглядела бы еще более фантастической, чем она есть на самом деле. Мы с Хейфцем, посоветовавшись, решили их оставить и дать мне возможность их исправить, тем логически обеспечивая естественное пространство для ненавязчивого внесения некоторых оценочных корректировок. Полагаю, что жанр это позволяет: это ведь не фиксация сиюминутного, когда через годы корректирующая рука поневоле искажает сам воздух вещи, — думаю, что характер рукописи, сделанной в лагере (о чём следует напомнить читателю), сохранится за счет исправления на глазах у читателя упомянутых погрешностей.

Э. Кузнецов

Глава из второй книги, написанной в лагере. Печатается в сокращении.

01.08.82

П. И. ВЕСЕЛОВ

5 декабря 1980 г. в Стокгольме после тяжелой операции на 69-м году жизни скончался Павел Иванович Веселов. Его настоящее имя — Петр Иванович Боляхов, родился он 21 октября 1911 г. в Никоне Новгороде (Горьком), в старообрядческой семье.

В 1931 г. за религиозные убеждения он был арестован и пробыл полтора года в тюрьме, затем был лишен прописки в родном городе, считался, часто менял работу. Служил конторщиком, бухгалтером и лишь впоследствии ему удалось стать юристом. А еще через какое-то время — прописаться в Горьком. Там он проработал до самой войны юрисконсультом крупного пищевого комбината и был известен тем, что для своего предприятия не проиграл ни одного дела.

В начале войны был призван в рабочий батальон и попал в плен к финнам. Осенью 1944 г., когда финны выдавали военнопленных, П. Веселов и еще 5 человек пропилили обломок пильы крышу теплушек и выпрыгнули на ходу — за четверть часа до того, как состав пересек границу СССР. Не найдя выпрыгнувших с ним друзей, Павел Иванович, полураздетый, не зная языка, почти без пищи, около месяца бродил по лесам и болотам, пока не был подобран добрым шведско-финской семьей. В ночь с 11 на 12 декабря он перешел в Швецию, где затем прожил 36 лет.

П. Веселов был творчески разносторонним человеком, но главным делом своей жизни считал философию. Один из его трудов — «Вечна ли природа?» — был опубликован изд. «Посев». В течение 15 лет он работал над романом о жизни Христа и о городе Александрии I в. по Р. Х. Но широко известен он стал как общественный деятель, борец против тиранических советских властями беззаконий.

В Балтийском море после мировой войны начали бесследно исчезать целые экипажи с небольших шведских рыболовецких и грузовых судов: По имени жены одного из пропавших моряков был создан «Фонд Мэри Юханссон», поручивший П. Веселову разыски моряков. Ему удалось собрать множество данных о том, что пропавшие моряки находятся в советских тюрьмах и лагерях.

Впоследствии, благодаря детальному знакомству с советским законодательством, глубокому знанию психологии советских властей, в главном — горизонтальной интуиции, П. Веселов стал единственным в своем роде ходатаем по делам воссоединения семей бывших граждан социалистических стран, в том числе невозвращенцев. За последние 20 лет ему удалось добиться выезда для 17 человек из СССР, 4-х из Польши, 2-х из Чехословакии и 1 из ГДР. До успешного завершения последнего, 24-го, выигранного им дела, П. Веселов не дожил: жена поляка-невозвращенца, за выезд которой велась борьба в течение 8 месяцев, прибыла в Швецию уже после кончины Павла Ивановича.

П. Веселов никогда не брал денег со своих клиентов, кроме как на почтовые, телефонные и разъездные расходы. Если же клиент не имел возможности покрыть эти расходы, то Павел Иванович сам доставлял нужные средства. Павел Иванович постоянно поддерживал дружеские и рабочие контакты с НТС.

После него не осталось никакого имущества, кроме книг и рукописей. Осталась также многочисленные друзья, почитатели и ученики. Многие из них предложили свою материальную помощь для достойных похорон и для создания фонда имени Веселова.

Друзья

По делу № 15 Лен управлении КГБ в 1974 году первоначально предполагалось привлечь следующих лиц: Эткинда Е. Г., профессора, литературоведа и переводчика; Марамзина В. Р., писателя; Хейфеца М. Р., писателя; Горячева П. М., Бочеварова Г. Н., Конкина В. Е. и жителя города Александрова Владимирской области Осипова В. Н. — сотрудников нелегального журнала «Вече».

Эткинда и Марамзина я знал лично. Существование всех остальных обнаружил через три недели после ареста, когда следователь познакомил с постановлением: дела четырех лиц, обвиняемых в изготовлении, хранении и распространении журнала «Вече», изымались из моего дела и передавались по месту жительства обвиняемого Осипова — во Владимирское обл управление ГБ.

1. ТРАДИЦИОННЫЙ ТИП ПОДПОЛЬЩИКА

Прошел с ареста год; получил я срок, проскочил этап, прибыл в зону № 17-а Дубровлага (Мордовия). Первое, о чем спросил товарищей в первый вечер, за чаем:

— Что с Осиповым?

— Их группу не взяли. И, видимо, не будут брать, — сообщил Зорян Попадюк, юный руководитель молодежной организации во Львове «Украинский Национально-Освободительный фронт»: в зоне, как я понял, тоже следили за делом «Вече».

За этот год обвиняемый № 1 профессор Эткинд «отделался» исключениями, увольнениями, лишением всех ученых степеней и званий, а также членства в Союзе Писателей. Марамзин был арестован, но вырвал себе «условный» срок. Вот почему я без колебаний поверил сообщению, что для Осипова и его людей следствие кончилось благополучно. Человек я злопа-

мятный, и потому читатель поймет мою радость: ведь, кроме понятного сочувствия неизвестным друзьям, я думал тогда, что «Дело № 15» продолжает проваливаться и в своих филиальных ответвлениях, значит, мой родной ленинградский следотдел терпит афронт. Приятно...

Но месяцев через восемь на 17-ю зону пришло сообщение: в 19-й лагерь привезли Осипова. «А как же остальные 'подельники' — Горячев? Конкин?» — «Никого. Прошел по делу один»...

Потом Осипова увезли с 19-й на зону № 3/5 — чтобы там он поцапался с неукротимым украинцем Чорновилом. Вместо этого оба плечом к плечу обрушились на администрацию. Тогда Осипова вернули обратно на 19-ю, куда в это время попал и я. Впервые встретил его в феврале, полгода назад: перед столовой в группе зэков стоял невысокий сероглазый круглицы русак, внешне похожий на маршала Жукова (может быть, не только внешне?). Запомнилось, что первое время он обращался ко мне на «вы» (обычно-то я со всеми диссидентами быстро переходил на «ты»). Мне даже казалось, что Владимир только такое обращение и признаёт, но после начала Битвы за Статус (стодневной забастовки протеста мордовских зон) он незаметно оттаял — и мы перешли на «ты». Но осмотрительная настороженность и осаживание малознакомых людей — первая черта, которая бросилась в глаза.

Осипов, по-моему, национальный тип русского характера. Сила его часто не в глубине, тонкости или логичности, она — в страсти, в отчаянности поисков Духа, иногда вопреки Разуму. Осипов, по-моему, далеко не всегда прав, но он честен. Когда он заблуждается, он заблуждается как глубоко верующий человек, не как хитрый демагог. Конечно, честность его — это честность политика, то есть предполагает выдержанку, расчет, компромиссы и умолчания (когда ему гово-

рить невыгодно). Но, повторяю, он честен. Может путаться и путать, может противоречить себе. Но это — путаница в поиске, а не путаница трусливого стремления обмануть себя, чтобы тем вернее обманывать других.

Еще одно. Он недоверчив ко всяческим внушениям и поучениям со стороны (слишком уж часто обманывали его близкие «ученые» друзья), но зорок и хваток ко всякой проходящей мимо мысли, которая покажется ему верной. Такая мысль не проскочит — не пропадет: он схватит ее, незаметно обработает и вставит в систему своей политики.

Осипов — из породы тех организаторов по натуре, про которых я читал в старинных материалах и рукописях о подпольщиках, — из породы Георгия Натансона, Александра Михайлова, Иннокентия Дубровинского.. Он знает и помнит всё про человека, который его интересует: на ком женат, с кем связан, на что способен. Иногда эта мелочная тщательность даже раздражает.

Исторически люди, подобные Владимиру Осипову, всегда занимали *вторые* места в руководстве подпольных организаций. Им всегда нужен был на первом месте трибун, идеолог, мыслитель, рядом с которым они могли привычно и неутомимо сплетать сеть организованного аппарата и заставлять ее целеустремленно работать по «задумкам» вождя партии. Интересно, что такие люди всегда уступали с видимой охотой первое место другому (это ясно в тех случаях, когда волею судьбы они временно становились вождями; как только рядом появлялся какой-нибудь трибун или литератор, ему сразу отдавали первое место, хотя, имея в руках организационные связи, они практически являлись непобедимыми в борьбе за власть). Так, Михайлов уступил место лидёра партии Желябову, Гоц — Чернову, Штрассер — Гитлеру... Зная Осипова, не сомневаюсь, что он при первой возможности поступил

бы так же. Историческая его трагедия, по-моему, заключалась в том, что рядом с ним не оказалось достойного и порядочного идеолога, что ему — в его время — одному приходилось тащить воз своей «партии» и быть предаваемым и продаваемым некоторыми из тех, кто считался «идеологами». Эти мысли, кажется, бродят и в тайниках его души. Однажды вырвалось: «'Вече'? Может, я был недостоин возглавлять такое дело. Может быть, оно выше меня, моих способностей. Но что было делать, если, кроме меня, не нашлось никого...»

2. НАЧАЛО ИНТЕРВЬЮ: КОРНИ

— Я родился в деревне Чижиково Псковской области, — начал он свой рассказ. — Дед мой, крестьянин, дружил с местным помещиком-либералом и от него набрался, по семейным рассказам, социал-демократического духа. Деда забрали в армию, и он без вести пропал в первую мировую войну. Всю семью, уже при советской власти, ставила на ноги бабка. Хорошая, верующая была крестьянка, но гены деда остались в потомстве: дети его в числе первых сделались молодежными «активистами». По селу ходила о них дурная слава — «безбожные люди»... Все получили образование, довольно большое для той поры; мать моя стала учительницей. На каких-то учительских сборищах познакомилась с учителем Осиповым, вышла за него замуж. Потом появился я.

Началась вторая мировая война, отца забрали в армию, мы уехали от немцев в... (я забыл, какое именно место назвал Владимир). Там был примечательный случай. Я тяжело заболел, врачи приговорили к смерти. Мама была готова испробовать, что угодно, и бабка настояла, чтоб крестили: пусть хоть умрет крещенным. После крещения наступил мгновенный пере-

лом в болезни, прошел кризис, как тогда говорили, и я выздоровел.

Отец воевал под Ленинградом, остался жив, но завел себе на фронте другую семью и к нам не вернулся. Уже после моего первого срока, совсем взрослым, я разыскал его — было интересно посмотреть: всё же отец. Он объяснял, как-то не очень убедительно, мол, война была, казалось — всему конец, жизни конец, о будущем не думалось совсем. Хотелось пожить настоящим, сиюминутным. Несчастный какой-то, потерянный...

В конце войны мы переехали в город Сланцы. Мать продолжала учительствовать в начальной школе. Дома у нас всегда стояла масса методической литературы. Я стал читать мамину книжку, и через несколько лет наткнулся на статью о воспитании атеизма у школьников. Было это, наверно, уже классе в седьмом. Я среди сверстников давно считался заводилой. В любых делах и играх уважали меня, уважали и за то, что верил в Бога. Не по-настоящему, конечно, а по-мальчишески: есть, говорил, нечто непознаваемое и страшное, все вокруг этого не знают, а я — узнал... И это мое знание давало авторитет. А тут прочел в маминой книжке, что верующие дети — самые темные, малограмотные, трусливые, всего боятся, потому и веруют. Хорошо помню, как это разозлило меня: значит так — взрослые про себя, в своих книжках считают нас темными и трусливыми?! Вот не буду верить в Бога! И перестал. От самолюбия перестал.

3. «АБСОЛЮТНО КОМСОМОЛЕЦ»

В школе я интересовался историей и литературой и без колебаний поступал на исторический факультет Московского университета. Конкурс оказался приличный, но я прошел. Был абсолютно советским, абсол-

лютно комсомольцем, вертесь вокруг всех общественных комсомольских дел на факультете, дважды ездил с ребятами добровольцем на целину — убирать урожай и дважды получил почетные значки целинника. Помню, в одном вагоне с нами ехала однокурсница — дочка Суслова, с женихом, в отдельном купе (мы-то, остальные, ехали вместе вповалку). Жених тоже был из «кругов» (Владимир, как ему и полагается, точно его помнил и точно назвал, а я, как мне полагается, тут же забыл). Мы всё подшучивали над ней: «А что мама скажет насчет твоего купе с парнем вдвоем?» Но даже шутливо мы смели затрагивать только маму — папа Суслов был вне сферы того, о чём можно вслух говорить, не то что шутить...

4. КРАСНОПЕВЦЕВ, СКУРАТОВ, КОМБЕДЫ...

Когда я слушал рассказ Осипова о студенческих годах, меня поражало сходство нашего духовного развития, сходство до мелочей. Оба начинали с комсомольского активизма, вдохновлялись хрущевской целиной, оба с торжественно-благоговейной верой в будущее «очищение» прослушали хрущевский доклад на XX съезде. Для обоих вторжение советских войск в Венгрию в 1956 году не стало сколько-нибудь серьезным событием во внутренней жизни: насилия и анархия венгерских повстанцев, их стихийность и неорганизованность — всё это не привлекало нас. Так было.

— ...Зато огромным событием стала казнь Имре Надя, — рассказывал Володя. — Кажется, его казнили года через два. А я хорошо помнил, речи Яноша Кадара, прежде защищавшего Надя, клявшегося публично, что Надя не виноват в анархии и насилиях, — и вдруг эта звериная жестокость Хрущева, бессмысленная в политическом отношении, — разве что как месть...

Долгое время Надь служил мне идеалом Героя и Мученика...

(И это похоже на меня. Венгерскую трагедию я осознал только после убийства Надя и Лошонци «либеральным» Хрущевым.)

Как я понял, серьезное воздействие на изменение жизненной позиции Осипова сыграл разгром группы Краснопевцева-Ренделя в Московском университете в 1957 году.

Краснопевцев считался восходящей звездой молодого поколения советской исторической науки. Блистательный аспирант, руководитель университетской комсомольской организации, он был постоянным примером для студентов-историков. Краснопевцев станет большим ученым — об этом твердили им профессора. А какой он был идеальный, какой лидер ленинской молодежи!

И вот оказалось, что этот комсомольский рулевой стоял во главе подпольной организации историков Университета. Они разработали программу — по словам Осипова, то была смесь большевизма, меньшевизма и троцкизма. Забавное, должно быть, получилось произведение! Вообще, по моим наблюдениям, вплоть до процесса Галанского и Гинзбурга в Москве идеологическое движение в СССР не сходило с позиций марксизма (или экономического материализма) в истории. Марксизм являлся единственной духовной пищей, которую мы впитывали с детства, и любые новые поиски оказывались возможными только под марксистским гарниром¹. Худо ли, хорошо ли, но марксизм стоял на фундаменте предшествовавшей ему науки и в этом смысле казался убедительным тем, кто не подозревал, что с XIX века наука довольно-таки сильно ушла вперед... До поры, до времени явные разногласия марксистской теории с практикой СССР

* Примечания Э. Кузнецова см. в конце текста. Сноски в тексте принадлежат автору. — Ред.

прикрывались все новыми истолкованиями старых идеологических постулатов.

Расхождение теории Маркса и Ленина с практикой советского общества в середине 50-х годов стало настолько явным для всякого исследователя, интересовавшегося не за зарплату социальной теорией, что возникла необходимость вернуться к «истокам» — подобно тому, как после костров инквизиции христианские мыслители стали задумываться не о существовании Христа, а о возврате к идеалам раннего христианства. В сущности, даже КПСС тогда провозглашила лозунг «назад к Ленину!» — в трудах и сочинениях Основоположника стали искать идейную опору для робких реформ хрущевской поры... Оппозиция пошла дальше, хотя сидела в той же купели. Краснопевцев и его друзья, студенты и аспиранты, воскресили наряду с Лениным еще Мартова с Троцким — весь спектр социал-демократической российской мысли. Они даже занялись первичным, зачаточным установлением связей с заграницей: во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году нашли контакты с польскими оппозиционерами-студентами, группировавшимися вокруг журнала «По просту». Тогда же, летом 1957 года, они совершили первое открытое выступление: распространили в Москве листовки с протестом против решений июльского, 1957 года, пленума ЦК, снявшего с постов Маленкова, Кагановича, Молотова, Сабурова, Первухина (а затем и Булганина с Ворошиловым) — подавляющее большинство членов Политбюро. Подпольщики вряд ли сочувствовали старым сталинским бонзам, потерпевшим поражение, но защищали их, как я понял из рассказа Осипова, исходя из принципиальных марксистских положений: они расценивали итоги пленума как чистой воды государственный переворот.

К осени с группой Краснопевцев было конечно: когда Осипов и его однокурсники вернулись с целины,

на факультете шепотом рассказывали про аресты, потом суд... Их судили по знаменитой сталинской статье 58-10 (ныне переименованной в 70-ю) и дали по десять лет².

Одновременно или чуть позже была разгромлена в Университете и вторая подпольная группа, состоявшая из студентов-юристов. Ее возглавлял Юрий Машков. Душой группы стала Валентина Цехмистер. После оглашения им приговора участники процесса по предложению Валентины трижды прокричали: «Позор кремлевским бандитам!» Это была группа «югославского направления», рассматривавшая «титоизм», или самоуправляющийся социализм как наиболее верное практическое воплощение идей Маркса-Ленина.

Но существовала и третья группа. Она формировалась вокруг студента Иванова (ныне более известного под литературным псевдонимом «Скуратов»). Как я понял, взгляды Иванова оказались теоретической помесью из идей Троцкого и Ницше — в эпоху левацких насильников это сочетание не выглядит таким уж странным. В группу Иванова-«Скуратова» входили не только университетанты, но и студенты других институтов, в их числе выпускник Московского энергетического института Виктор Авдеев, а из историков — Владимир Осипов.

В оппозицию его толкнул интерес к истории и социологии. Никаких личных несчастий в его жизни не имелось, считаю нужным это отметить. Напротив, именно в это время успешно развивался роман с его будущей женой. Но Осипов страстно занимался социальными дисциплинами, преподаваемыми на факультете, — и эти дисциплины толкали его в подпольную работу. Со страниц ленинских «первоисточников», в особенности со страниц «Государства и революции» и «Очередных задач советской власти», буквально вспыхивали обличения самых основ современной практики ленинского государства: достаточно напомнить хотя

бы общеизвестное ленинское требование, чтобы зарплата самого высокого чиновника не превышала среднюю зарплату рабочего. А возмущенные возгласы: «Верх позора и безобразия: партия у власти использует эту власть, чтобы выручать из-под суда *своих* мерзавцев»?.. А призывы к выборности всего управляющего аппарата сверху донизу?.. Я далек от мысли идеализировать эти утопические фразы кремлевского фантазера — он сам нарушал их ежеминутно, и не в силу беспринципности, а подчиняясь неумолимой логике практической государственной работы. Недаром его соратник Луначарский назвал своего вождя «великим оппортунистом»... По мне, так справедливость была скорее у советского государства, чем у Ленина. Но на студентов пятидесятых годов ленинские поступаты и громовые стрелы революции производили огромное впечатление. Марксизм-ленинизм заставил их встать против Советского государства.

...Кстати, способности и упорство Осипова заметили его преподаватели. Владимир рассказывал, что профессор-историк, бывший крупный партийный босс, попавший в опалу и, соответственно, в профессора (кажется, из-за какого-то аморального скандала — Никита Сергеевич слегка подтягивал тогда вожжи), заметил студента Осипова, обещал ему свою поддержку при зачислении в аспирантуру и уже обсуждал с ним тему возможной диссертации. Так что к личным успехам присоединялись и заманчивые профессиональные перспективы. Осипов выбрал другой научный путь.

В декабре 1957 года он прочитал на студенческом семинаре доклад, заголовок которого дает представление о содержании: «Комитеты бедноты в 1918 году как орудие борьбы коммунистической партии с русским крестьянством». С этой даты Осипов отсчитывает начало своей общественной деятельности.

— ...Помню, собирались группой у Иванова, об-

суждали, как подготовить доклад, протолкнуть его. В общем, это стало первым делом группы...

Владимир ухитрился вручить доклад руководителю буквально перед самым семинаром, когда отменять что-либо стало поздно (или профессор не успел догадаться, что семинар можно отменить?).

— Как ты выбрал такую тему?

— Случайно. Мне попал в руки сборник документов о комбедах, я прочитал его и осталенел: и это они печатают о самих себе?! Мой доклад был построен исключительно на документах, официально опубликованных в Союзе...

Началось «поедание» дерзкого докладчика. Мерой пресечения наметили исключение из комсомола (которое автоматически влекло за собой исключение из университета). Созвали комсомольское собрание. Могу представить, как клокотали страсти насчет «блитильности» и «отпора враждебным проискам» на факультете, где всего полгода назад арестовали Краснопевцева и К°. Обсуждали двоих: Владимира и кого-то из его однокашников по факультету, я забыл его фамилию и его дело (кажется, он бросил какую-то листовку на факультете — Владимир же помнил все обстоятельства, причем с присущей ему въедливостью во все детали). Помню только, что этот парень был калекой — не то безногий, не то горбатый, хилый, жалкий... На собрании впервые проявилось тактическое дарование Осипова: он явился туда с двумя целинными значками на лацкане и вместо того, чтобы каяться или наоборот защищать свою позицию, что было бы одинаково губительно, изобразил недоумение: а что, собственно, случилось? Да, изучал документы, пришел к таким-то и таким-то выводам. Неправ? Но почему профессор не поправил? Ведь семинар потому и называется семинаром, что на нем обсуждают доклад, поправляют докладчика... Прочел документы — может, их неправильно понял, так на то есть руководи-

тель и товарищи, чтобы разъяснить... Внезапно выступил один из всеглашних оппонентов Владимира на курсе, студент истово коммунистических убеждений, споривший с Осиповым по всякому поводу: «Он прав. Мы должны объяснять ему, а не изгонять...» Я не раз замечал, что любые заранее предрещенные и подготовленные решения на собрании рушатся, если находится один человек, который дерзнет сказать «нет», и вдруг выясняется, что втайне всем хочется сказать «нет», и, как ни удивительно, само начальство, оказывается, не очень-то настаивало на «да», скорее по инерции, а раз «нет», пусть будет «нет»... Недаром наиболее важные и принципиальные для него решения начальство как раз через собрания и не пускает... После выступления Володиного оппонента его оставили в комсомоле и институте («свой парень, мы же его знаем, вместе на целину ездили»), а неизмеримо менее виновного и более несчастного калеку с воем выгнали с факультета — он не казался своим здоровому комсомольскому народу.

5. «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» ИВАНОВУ

Так Осипов остался в Университете — не надолго. Группа Иванова затаялась, но была обречена. Один из ее членов, энергетик Виктор Авдеев, окончив институт, уехал по распределению, кажется, на Урал. Он переписывался с Ивановым, который позволял в частной переписке крамольные высказывания. С этими письмами произошла история, выпукло характеризующая нравы сталинского поколения. В отсутствие Авдеева письмо Иванова вскрыла его мать, прочла, ужаснулась и сообщила в ГБ. Женщина, видимо, планировала, что пострадает только отправитель, но «голубые соколы» начали с ее сына. Они произвели на квартире обыск, нашли несколько стихотворений тогдаш-

него самиздата (вскоре они или им подобные были напечатаны в «Правде» по распоряжению Хрущева) и несколько переводных статей (Осипов характеризовал их так: «Сейчас такие печатает «За рубежом». Ну, разве чуть-чуть их подредактирует»). Всего этого вполне хватило, чтобы сына идеиной доносчицы арестовали, привезли в Москву и осудили, если не ошибаюсь, лет на семь³, по-тогдашнему мягко, ибо их группу ГБ не обнаружило. Тогда-то впервые проявился характер Осипова: он посмел явиться на суд. Времена были патриархальные, без игры в «разрядку», «права человека» и прочие новинки: хотя в КГБ уже не избивали арестованных, но до таких новшеств, как открытый суд над «политиками», Союз еще не дозрел. В зал суда никого не пустили, но Осипов увидел Авдеева в коридоре суда и простился с ним: «Во время заседания из зала в коридор вышли двое заседателей, — рассказывал Владимир. — Одна была женщина, сравнительно молодая, по внешности из активисток, входящих в парткомы низовых организаций. Я услышал, как она говорила соседке: «Выпороть бы его! Выпороть!» И несмотря на садистскую оболочку этой фразы, я почувствовал в ней другое: зачем судить, выпороть надо и отпустить — такое мещансское, но, в общем, втайне добродетельное отношение. Жалко ей было отправлять молодого парня в лагерь...»

Вслед за Авдеевым арестовали отправителя писем — Иванова (Скуратова). В скором времени он был признан психически больным и помещен в Ленинградскую спецпсихбольницу (откуда вышел года через два).

Арест Иванова стал переломным событием в жизни Владимира Осипова.

— Я не мог молчать, — рассказывал он. — Взяли товарища, и я ничего не сделаю, ничего даже не скажу?.. Ну, и решил. Сначала пошел к Аиде, она уже была моей невестой, — рассказал, что задумал. Она

одобрила. Произошло все на лекции. Боялся очень: помню, колени от испуга подгибались, и я специально сел в первом ряду аудитории — боялся, если буду сидеть где-то сзади, пока пройду дорогу до кафедры, не выдержу, испугаюсь и вернусь. Хотел сделать всё перед лекцией — не хватило духу, дождался перерыва. И тут рванулся вперед. Выскочил рядом с кафедрой и на всю аудиторию крикнул, что арестован наш товарищ Иванов, сейчас он сидит в тюрьме КГБ, сейчас, может быть, в эти часы его пытают, и я призываю всех, кто знал его, каждого, кто как может, выразить свой протест... — Кричал в аудиторию, а видел, кажется, одного профессора: он стоял около кафедры и смотрел на меня с такой жалостью, будто вот меня на его глазах засыпают, живого, могильным прахом...

На этот раз настигла дерзкого кара: из комсомола его исключили, кажется, в тот же день, часа через два, уже не на собрании, а на бюро. Настроение было единодушно обиженное:

— Они были как бы оскорблены, что вот оказали мне такое доверие, год назад не исключили, а я принялся за старое...

А еще через несколько дней он был исключен из университета, «Альма матер» имени Ломоносова. Повод для исключения найден был, разумеется, академический (кажется, срыв лекции, той самой, на которой он выступил, или пропуск занятий — он после выступления ушел домой, точно не помню). Научное учреждение не захотело себя замарать таким позорным фактом, как зафиксированное выступление студента в защиту арестованного друга.

Как раз в это время его родители переехали в Москву: прописаться на их площади у студента, исключенного за «политику», не было ни единого шанса. Но он не стал бездомным. Аида Топешкина стала Аидой Осиповой. Он мог прописаться у жены, где-то в подмосковном пригороде.

него самиздата (вскоре они или им подобные были напечатаны в «Правде» по распоряжению Хрущева) и несколько переводных статей (Осипов характеризовал их так: «Сейчас такие печатает «За рубежом». Ну, разве чуть-чуть их подредактирует»). Всего этого вполне хватило, чтобы сына идеиной доносчицы арестовали, привезли в Москву и осудили, если не ошибаюсь, лет на семь³, по-тогдашнему мягко, ибо их группу ГБ не обнаружило. Тогда-то впервые проявился характер Осипова: он посмел явиться на суд. Времена были патриархальные, без игры в «разрядку», «права человека» и прочие новинки: хотя в КГБ уже не избивали арестованных, но до таких новшеств, как открытый суд над «политиками», Союз еще не дозрел. В зал суда никого не пустили, но Осипов увидел Авдеева в коридоре суда и простился с ним. «Во время заседания из зала в коридор вышли двое заседателей, — рассказывал Владимир. — Одна была женщина, сравнительно молодая, по внешности из активисток, входящих в парткомы низовых организаций. Я услышал, как она говорила соседке: «Выпороть бы его! Выпороть!» И несмотря на садистскую оболочку этой фразы, я почувствовал в ней другое: зачем судить, выпороть надо и отпустить — такое мещанское, но, в общем, втайне добре отношение. Жалко ей было отправлять молодого парня в лагерь...»

Вслед за Авдеевым арестовали отправителя писем — Иванова (Скуратова). В скором времени он был признан психически больным и помещен в Ленинградскую спецпсихбольницу (откуда вышел года через два).

Арест Иванова стал переломным событием в жизни Владимира Осипова.

— Я не могмолчать, — рассказывал он. — Взяли товарища: я ничего не знаю, ничего можненесказать... Ну и решил я Станислава пешком занести, он уже была моей невестой — рассказал, что задумал. Она

одобрила. Произошло все на лекции. Боялся очень: помню, колени от испуга подгибались, и я специально сел в первом ряду аудитории — боялся, если буду сидеть где-то сзади, пока пройду дорогу до кафедры, не выдержу, испугаюсь и вернусь. Хотел сделать всё перед лекцией — не хватило духу, дождался перерыва. И тут рванулся вперед. Выскочил рядом с кафедрой и на всю аудиторию крикнул, что арестован наш товарищ Иванов, сейчас он сидит в тюрьме КГБ, сейчас, может быть, в эти часы его пытают, и я призываю всех, кто знал его, каждого, кто как может, выразить свой протест... — Кричал в аудиторию, а видел, кажется, одного профессора: он стоял около кафедры и смотрел на меня с такой жалостью, будто вот меня на его глазах засыпают, живого, могильным прахом...

На этот раз настигла дерзкого кара: из комсомола его исключили, кажется, в тот же день, часа через два, уже не на собрании, а на бюро. Настроение было единодушно обиженное:

— Они были как бы оскорблены, что вот оказали мне такое доверие, год назад не исключили, а я принялся за старое...

А еще через несколько дней он был исключен из университета, «Альма матер» имени Ломоносова. Повод для исключения найден был, разумеется, академический (кажется, срыв лекции, той самой, на которой он выступил, или пропуск занятий — он после выступления ушел домой, точно не помню). Научное учреждение не захотело себя замарать таким позорным фактом, как зафиксированное выступление студента в защиту арестованного друга.

Как раз в это время его родители переехали в Москву: прописаться на их площади у студента, исключенного за «политику», не было ни единого шанса. Но он не стал бездомным. Аида Топешкина стала Аидой Осиповой. Он мог прописаться у жены, где-то в подмосковном пригороде.

Жили они, как я понял, на редкость безоблачно и счастливо. Он жену любил сильно, доверял ей безгранично. Через год появился ребенок — дочка Катя.

Надо было думать о работе и учебе. Работал сначала завклубом, «крутил танцы» по вечерам. Потом пошел на «повышение» — стал директором маленького местного кинотеатра. Одновременно попробовал продолжать учение. Летом, сразу после исключения, поступил на первый курс истфака Московского пединститута. При поступлении не указал в анкете, что учился в МГУ и оттуда исключен. Поэтому, сдав экзамены на «отлично» — самое легкое из того, что надо было сделать, — с успехом смог проскочить конкурс и снова стал студентом. Но государство било. Осенью Владимира вызвали на очередную проверку в военкомат, и он имел глупость указать в воинской анкете, что заочно учится в педвузе. Через две недели получил повестку — вызов из педагогического учебного заведения: его оттуда исключили «за сокрытие сведений при поступлении».

— Вызвал меня декан — объясняться. Никаких объяснений не было, всё уже решено, он просто захотел покрасоваться властью. Был такой высоченный, грузный мужчина, а я тогда — худой, щуплый, небольшого роста, — и он на меня орал, стоя, свысока: «Мы с вами будем беспощадно бороться!» Так это было обидно и нелепо...

Через месяц или два Осипов случайно обнаружил еще одну учебную контору: Московский заочный пединститут. То была какая-то шарашка, без своего здания, без серьезного курса лекций — нечто вроде самообразования для уже работающих, но малограмотных учителей. Тут его выручила «академическая причина», указанная в документах об исключении из университета. Молодая женщина, проверявшая документы при зачислении, конечно, не поверила, что отличника исключили за пропуск одной лекции, но приметила

другое: парень-то молодой, а уже женат, и есть ребёнок. Всё ясно: «каморалка». Исключили и тем заставили жениться. История обычная... Заочный пединститут это обстоятельство не волновало: видимо, женился, покрыл грех — ну, пусть учится... Он сдавал экзамены ускоренным темпом, наверстал пропущенный год и получил диплом учителя истории одновременно со своими однокурсниками по МГУ*.

Кончилось постыдное директорство, началась школа. И одновременно началась площадь Маяковского.

6. ЗАВОДИЛЫ НА ТРИУМФАЛЬНОЙ...

Историю площади Маяковского Осипов излагал так.

Памятник Маяковскому в Москве ожидали давно. По-своему молодёжь Маяковского уважала: «истинно марксистский», «истинно ленинский» поэт оказался созвучен эпохе первичного пробуждения общественно-го сознания (как Евтушенко с его тогдашней декларацией: «Считайте меня коммунистом!»). Поэтому, когда скульптуру наконец поставили (через три десятилетия), у её постамента возникли стихийные сборища молодежи: начинающие советско-комсомольские поэ-

* В жизни Осипова был такой эпизод. Однажды пришел в военкомат на очередную отметку, а учреждение как раз переезжало в соседнее (через переход) помещение. Осипова какая-то девушка из делопроизводителей попросила помочь отнести туда папки с бумагами. Среди них оказалось его «Дело». К обложке прикреплена записка: «Звонил уполномоченный КГБ, Осипов исключен из университета за принадлежность к антисоветской группе». Володя отодрал листок и выбросил его в урну... Я спросил его, узнав об этом: «А откуда ГБ знало о существовании группы?» Он промолчал. «Может быть, Иванов что-нибудь выболтал на следствии — не для протокола, а так, для контакта со следствием?» Володя хмуро сказал: «Не надо про это. Доказательств нет — и не надо».

ты с этой эстрады стали читать стихи случайной публике.

Сначала властям, особенно комсомольским, это нравилось; новая форма идеиного воспитания молодежи была разрешена. Но скоро сборища на площади вырвались из-под комсомольского контроля.

Владимир так анализировал ситуацию:

— Советский человек живет в норе: в своей работе и в своей квартире. Он не может вырваться из этой норы: клубы у него производственные, то есть связанные с той же работой, или при домоуправлениях, то есть при твоем доме; все общественные организации: комсомол, ДОСААФ и так далее — тоже связаны либо с производством, либо с жилищем. Близких по духу людей, особенно в большом городе, он физически просто не может встретить, если с ними не работает или не соседствует. А тут возникла самодеятельная площадка, где встречались любители поэзии со всей Москвы, независимо от института, завода или домоуправления. Стенки нор сломались.

К этому объективному фактору стоит добавить фактор субъективный: на площади Маяковского появились люди с большим организаторским талантом, и их сразу заметили.

— Три человека стояли у начала этого движения, — вспоминал потом Краснов-Левитин, церковный писатель-диссидент, лагерник, выдворенный, в конце концов, из СССР. — Эдуард Кузнецов, Юрий Галансков, Владимир Осипов.

Имена эти сейчас всемирно известны как имена литераторов (Кузнецов и Осипов стали членами ПЕН-Клуба), но по своему природному призванию их носители, несомненно, были крупными организаторами общественных сил. Мало того: на площадь Маяковского приходил еще молодой Александр Гинзбург, именно там он задумал и составил первый за десятилетия в СССР нелегальный журнал «Синтаксис», где

печатались почти никому не известные тогда Б. Ахмадулина, Б. Окуджава и другие. С Эдуардом Кузнецовым появился рядом неразлучный его друг Виктор Хаустов, впоследствии герой двух политических процессов, — это был, кажется, первый советский диссидент, публично на суде отвергнувший марксизм-ленинизм (недавно в лагерь пришло письмо: Василь Стус встретил Хаустова на этапе из лагеря в ссылку. «Он теперь того же направления, что и Володя Осипов, — писал Василь, — но мы встретились по-джентльменски и по-дружески расстались»). Группу десятиклассников, почтительно окружавших полузарослых заводил, возглавлял признанный вожак Володя Буковский. Наконец, яркой фигурой в этом созвездии был Илья Бокштейн, горбатый философ с миссионерским взором, впоследствии политзэк и политэмигрант. Кажется, не найти знаменитого диссидента из молодых, прогремевшего в конце 60-х — первой половине 70-х, который не появлялся тогда на площади Маяковского, не провел там своей юности. Именно на площади Владимир Осипов почувствовал, что ему, наконец, есть где приложить свой организаторский дар.

Видимо, возможность проявить природные способности оказалась настолько важной для него, что даже первая личная трагедия — развод с женой — прошла почти не замечено. «Наш брак был безоблачен, и вдруг она мне сказала, что любит другого. Неделю я лежал в постели, не в силах двинуться с места, но, видно, организм был силен: через неделю встал и ушел в работу».

Работой стала площадь Маяковского.

Осипов любил поэзию (даже Лиду он вспоминает только как «молодую поэтессу»). Продолжая замысел Гинзбурга, он выпустил свой стихотворный журнал «Бумеранг». Впрочем, скоро «Бумеранг» прекратился, и материалы, подготовленные для очередного номера (как и для «Синтаксиса», прекратившегося после пер-

вого ареста А. Гинзбурга), унаследовал знаменитый впоследствии журнал Юрия Галанского «Феникс».

По словам Осипова, молодые люди замотались — у них не хватало часов в сутках, чтобы организовывать всё новые и новые мероприятия. Только что подготовили выставку абстрактного искусства, естественно, подпольную, и уже надо слушать стихи вновь открытого поэта или идти на нелегальный философский семинар (некоторые из этих семинаров проводил малоизвестный еще Г. Померанц, и спустя несколько лет следователи приезжали к Осипову в лагерь за свидетельскими показаниями против него — готовилось дело. Показаний они не получили, и всё заглохло). Занимались юноши и крупными, оставшимися в истории делами тогдашней «культурной оппозиции» (так окрестил ее А. Амальрик), и мелочью. Осипов с юмором рассказывал, как выручали от «посадки» какого-то из молодых участников сбороша на площади, на которого писали жалобы и доносы кляузные соседи. Пошли втроем — Галанков, Осипов и один из их товарищей (кажется, однофамилец Иванова-«Скуратова»)⁴, представились соседям внештатными сотрудниками милиции, записали их показания и при этом выпытали такие компрометирующие жалобщиков подробности (при «своих» те не стеснялись говорить откровенно), что, когда эти записи оказались представленными в суд, он оправдал обвиняемого...

Поначалу сбороша на площади Маяковского носили исключительно «культурно-оппозиционный» характер — политики они не касались. Исключение составлял Илья Бокштейн, который едва ли не сразу перешел к политике и делал это с дерзостью, смущавшей даже его не слишком осторожных товарищей. Он, как древнерусский юродивый, слонялся возле памятника и заговаривал на самые острые политические темы с первым встречным, кто появлялся; более того, когда обеспокоенные комсомол и милиция стали присыпать

на площадь дежурных дружинников, Илья Бокштейн стал проповедовать и среди них тоже. С кем он только ни говорил! Когда впоследствии активистов с площади Маяковского судили втроем, то «у нас с Кузнецовым, — заметил Осипов, — почти не было свидетелей обвинения, зато весь процесс заняли показания свидетелей Бокштейна».

Интересно, что в то время национальный вопрос вообще не занимал какого-то места в сознании молодежи с площади Маяковского, и единственным, кто заразился национальным вирусом, оказался Бокштейн — причем вирусом великорусским!

— У него сильно звучала струна великорусского мессианизма, — говорил Осипов, — это мне запомнилось, как нечто совершенно чужое. И он первым стал обращаться к слушателям со старинным обращением: «Господа!» Тоже казалось удивительным: какие же мы господа, мы — товарищи друг другу, это власти — господа!

В общем, когда Бокштейна всё же забрали⁵ — это не произвело особенно сильного впечатления на его товарищей. Если человек, несмотря на дружеские предостережения, лезет в тюрьму, что с ним делать?

Кульминацией «культурно-оппозиционного» движения, видимо, стал поэтический митинг в апреле 61-го года. Политические страсти разгорались, хотя пока еще держались в формальных рамках искусства. Организаторы собраний возле памятника Маяковскому дирижировали публикой всё увернее и вели ее всё определеннее в сторону политической оппозиции. Поэтический вечер, намеченный на апрель, составили из сатирических и агитационных стихов. Но в этот момент — исторический рубеж в истории Земли: 12 апреля в космос взлетел первый человек, и он оказался соотечественником, по типу подобранным русским пареньком — Юрием Гагариным. В дни массового искренне-патриотического психоза группа молодежи

провела митинг в центре лиżącej Moskwy, где открыто заявила, что она против системы, пославшей корабль в космос!

В начале организаторы, правда, решили отменить митинг, подготовленный задолго до 12 апреля⁶, — вернее, отодвинуть его на другую дату. Но связи работали с большими разрывами, и на площадь пришло много людей, не предупрежденных о том, что ничего не будет. Организаторы, проверявшие «место», вдруг обнаружили, что, вопреки отбою, собрался народ. И с решимостью молодости скомандовали: «Давай!»

Не помню из рассказа Владимира, кто выступал первым. Вначале этот человек сказал, что Юра Гагарин ему нравится, а многие порядки в стране — нет. Толпа засвистела, зашумела, возмущалась. Потом поэт Щукин читал сатирические стихи, еще больше накалившие обстановку. Слушатели стали пробираться к памятнику, чтобы стащить Щукина и сдать «куда следует». Осипов дал команду, и его товарищи цепью встали вокруг пьедестала, защищая поэта. Щукина сменил Юрий Галансков (а, может, порядок был обратный?). Спустя шестнадцать лет, в апреле 1977 года, рассказывал мне Осипов о его стихах — это был немолодой уже вожак, почти сорокалетний человек, отбывший в концлагерях десять лет и ждавший впереди конца срока еще через пять, познавший и прошедший через славу и измену, любовь и подłość, — и голос его, как у юноши, наполнялся пафосом и восторгом, когда вспоминал Галанского, читающего стихи. Прожектор подсвечивал поэта на пьедестале, он сгнулся над толпой, как птица за миг до полета, и бросал в толпу строчки: «Не нужно мне вашего хлеба, замешанного на слезах...»

— В какой-то миг они не выдержали, заревели, бросились на нас и прорвали цепь!

...Осипов рассказывал мне про Галанского в пасхальное утро 1977 года. На зоне праздник. Под вечер

я гулял по кругу с украинскими политзаключенными — Николаем Кончаковским, бандеровским контрразведчиком, начавшим в лагере свой двадцать шестой год заключения, и Кузьмой Дасивом, украинским диссидентом, схваченным в 1973 году на улице Львова с пачкой листовок в руках и осужденным на двенадцать лет (семь лагеря плюс пять ссылки). Неожиданно нить разговора с ними повернула к Юрию Галанскому: украинцы рассказали мне, как умирал Юрий в лагерной больнице. Тут они назвали фамилию зэка, лагерного библиотекаря, свидетеля его кончины, от которого они услышали все подробности:

— Самое неудачное время для операции было: в пятницу во второй половине дня. Вырезали хирурги язву желудка и оставили в палате, где лежали умирающие, а сами ушли. Суббота, воскресенье — в больнице врачей не бывает никого. Может, кому и положено дежурить, только никого из врачей в эти дни библиотекарь не видел. В выходные дни медицина пьет. А санитар Репа*, сволочь, тоже ушел. Что ему до живого — мертвого подавай, — он после трупа его имущество себе заховает. Галанков лежал, а библиотекарь — с ним рядом. Галанков пить просил: «Пить, пить». Библиотекарь рассказывал: «Я бы рад помочь, да у самого сил нет, сам умираю. И никого вокруг». Галанков сначала кричал: «Пить, пить», а потом только стонал: «Мама, мама»... А под утро выдохся, затих и умер**.

...Когда в апреле 1961 года толпа воинственных советских патриотов прорвала цепь молодежи, «активисты» схватили Юрия Галанского. Он спасся: кто-то

* Санитары в больнице подбираются из заключенных, которых начальство «поощряет».

** Библиотекарь, чью фамилию я забыл (из фашистских сотрудников), тоже умер, но перед смертью был этапирован в зону (передать библиотеку другому зэку) и успел рассказать про смерть Юрия Галанского.

из друзей вдруг вышел из-за угла, властно протянул руку и распорядился: «Этого забираю я». Его приняли за гебиста и передали поэта из рук в руки: тот увел Галанкова с собой... Кто-то кричал, указывая на Осипова: «Этого брат! Этого! Он у них главный!» Осипов прикрывал Щукина. Их схватили обоих и повели в милицию, несмотря на протесты и сопротивление... Так впервые в жизни Владимир оказался в участке. «А у меня в кармане нелегальная книга, — рассказывал он. — Я же не собирался на митинг, он отменен был. По дороге к памятнику встретил знакомого, раздобыл у него книгу, потом пошел поглядеть, что там на площади, и — влит в милицию. Думал, обышут — конец». Но милиционеры переписали с паспортов данные и отпустили обоих...

Когда вспоминаю об эпизоде у памятника Маяковскому, в мозгу по странной ассоциации сразу возникает бесконечно презрительное отношение Осипова к Ленину. Мне кажется, что причина такого презрения даже не идеологическая, вернее, совсем не идеологическая, — а этическая. Ленин и Осипов — это как бы два противоположных типа вожаков: у обоих большие цели, честолюбие, внутренняя уверенность в своем праве вести людей (может, оно и называется властолюбием?)... Разница, кажется, в следующем: в Ленине необычайно развито чувство *личной* опасности. Он оберегал прежде всего собственную жизнь и свободу, а уже «из прекрасного далека» решался на безумно смелые проекты, смертельно опасные для маленьких людей, окружавших «великого вождя» и веривших в него. Я пишу это вовсе не в осуждение Ленина — может быть, настоящий вождь, чувствующий в себе выражение воли истории и ответственность за ее судьбы, именно по-ленински должен поступать... Но для Осипова такое поведение абсолютно неприемлемо. Для него вождь⁷ — это тот, кто возьмет *на себя* самое опасное дело, кто рискует головой больше всех, кто

получил право посыпать людей на смерть не потому, что имеет «кресло» или даже владеет истиной, требующей жертв, а потому, что он первым идет на риск и на смерть и имеет право требовать *такого же* риска от второго, от того, кто идет за ним следом. Ленин командовал бы перед атакой: «Вперед!», Осипов — «За мной!» Возможно, что сравнительно легкий, незаметный разрыв Осипова со стадией «неоленинизма» («Назад к Ленину»), которую прошло почти все его поколение, объясняется именно личной смелостью руководителя... Невозможно выразить, какое презрение выплескивалось из Осипова, когда он изображал, как Владимир Ильич, закрутив для маскировки щеку платком, якобы от зубной боли, и шмыгая в каждую встречную подворотню, пробирался в Смольный по ночному Петербургу, уже занятому его же войсками по приказу Троцкого.

... Вскоре после посещения милиции он и Щукин были вызваны в суд и получили соответственно десять и пятнадцать суток «за хулиганство»: первая отсидка! В постановлении стояло стандартное обвинение: «Хулиганил, выражался нецензурными словами» и стандартный срок — 15 суток. Владимир жутко возмутился: «Я — выражался нецензурными словами? Я? Как вам не стыдно? Я в жизни никогда этих слов не произносил!...» Когда он возмущается, голос становится пронзительно-тонким, «бабьим», как говорили в старину. Эта необычная модуляция действует даже на лагерное начальство... Подействовала она и на судью: он вычеркнул «нечензурные слова» и заодно сбавил срок до 10 суток. (Владимир и на самом деле патологически не выносит мат.) ... Отсидеть 10 суток удалось без последствий: директор школы, хотя была депутатом Верховного совета, хорошо относилась к молодому, талантливому учителю истории и без спора отпустила его по каким-то выдуманным «срочным делам», к родным на десять дней. 10 суток, конечно,

немного: власти просто не хотели создавать шумный процесс вокруг антисоветского митинга в центре Москвы в дни чествования первого космонавта. Они были правы. Но срок — первый настоящий срок — уже надвигался на ребят с площади Маяковского.

7. ...И ЕГО ПАСТУХИ

«Политизация» усиливалась с каждым новым днем. На крайне левом, экстремистском фланге, находился вернувшийся из ленинградского дурдома Иванов-«Скуратов»⁸. Спецпсихбольница вернула его в общество террористом. Он разглагольствовал на всех углах: мол, всё, что здесь делается, — это болтовня; пропаганда в условиях тоталитарного общества — «самосажание», никакая массовая работа невозможна и бесполезна, и единственным методом, способным возбудить общество, потрясти Россию и двинуть ее вперед, должен стать террор. Осипов придерживался более умеренной линии: сам он определяет ее как анархо-синдикалистскую. Двигателем истории — по Марксу — оставался в его толковании рабочий класс, в среде которого интеллигенты должны вести пропагандистскую работу (согласно взглядам Осипова, рабочий класс СССР был пронизан всеобщим недовольством). Историческим образцом для него должна стать Парижская коммуна, орган рабочего самоуправления. Привлекательным в ней казалось прямое народовластие и наличие многопартийной системы: в коммуне Парижа, как известно, были представлены две партии — бланкисты и прудонисты. С этой точки зрения наиболее близко к идеалу по Осипову и К° — подходила современная Югославия с ее рабочим самоуправлением, но и она не достигла идеала, ибо не решилась дополнить экономическую ячейку социализма,

— коммуну, политическим венцом — многопартийной (или хотя бы двухпартийной) системой.

Молодые люди были кем угодно — мечтателями, фантазерами, романтиками, но не болтунами. Раз решив, что их задачей должна стать пропаганда в рабочем классе, они стали изучать рабочее движение. По словам Осипова, конфликты рабочего класса с властями возникали тогда в разных местах. Произошел бунт рабочих в старинном Муроме — я никогда об этом не слышал, а Владимир живописал мне его со всеми подробностями. Ребята с площади Маяковского, оказывается, посыпали туда своих людей, собиравших информацию на месте⁹. Только отшумели события в Муроме, начался мятеж в Александрове — в старинной Александровской слободе, столице «опричного царя» Ивана Грозного. Всё это будоражило молодежь, заставляло верить, что рабочий класс недоволен, готов к борьбе, что их анализ советской действительности верен — надо действовать.

А рядом с Осиповым в это время действовал его оруженосец, верный и преданный, студент Сенчагов (кажется, нынче он какой-то специалист по Юго-Восточной Азии).

Как он появился в окружении Осипова? Владимир стал вспоминать об этом только в момент нашего «исповедного разговора». И вспомнил.

Началось так. Когда дружины напали на молодежь у памятника Маяковского (не в день ли апрельского митинга это случилось?) и волокли кого-то из активистов в участок¹⁰, на них неожиданно и энергично налетела незнакомая ребятам молодая женщина. «Что вы делаете, мерзавцы, хулиганы, шпана!» Напор женщины оказался таким яростным, что дружины выпустили свою жертву, и она сбежала — вместе с женщиной... Схема для внедрения, по правде говоря, настолько кинематографическая, что я бы не поверил, что это и есть схема, если бы по опыту не знал, как

шаблонна фантазия оперативного отдела и как, несмотря на шаблон, она успешна — ибо объекты слежки совсем неопытны и наивны. Короче, молодая героя сразу стала своей в кругу активистов с площади и очень близкой подругой первого среди них, интеллектуального крепыша Эдуарда Кузнецова.

Почему я думаю, что тут действовала схема оперативного отдела? После второго процесса Осипова к нам в зону приезжал его следователь.

— О чём он с тобой говорил? — спросил я.

— Уговаривал писать «помиловку»*. Вы, обещал, уже в этом году можете быть дома. Но упрекал, что я плохо себя веду. Дурно, говорит, отзываешься о свидетелях...

Единственный свидетель, о котором Осипов отзывался «дурно», то есть как об агенте КГБ, была та самая молодая женщина — бывшая комсомольская, а уже потом «движеческая» активистка Светлана Мельникова.

...И вот эта-то Светлана Мельникова привела тогда на площадь, как случайно вспомнил Осипов лет шестнадцать спустя, своего юного поклонника — студента Сенчагова. Очень скоро Сенчагов стал пасти Осипова также внимательно, как Мельникова, видимо, пасла Кузнецова.

8. ХОРОШО БЫ УБИТЬ ХРУЩЕВА!

А молодые люди готовились, наконец, создать политическую организацию анархо-синдикалистского толка. Первое собрание они провели ночью, на берегу какого-то пруда в парке¹¹. Осипов зачитал собравшимся проект программы и тут же сжег его в их присутствии.

* Не знаю, надо ли напоминать, что «помиловка» включает в себя «признание вины» и «раскаяние».

ствии. «В общем, — признавался мне, — суд потом правильно квалифицировал это как попытку создания партии». Позже происходили какие-тоочные собрания в каких-то подвернувшихся квартирах — с путаными спорами, случайными дискуссиями... И всюду присутствовал верный Сенчагов. Готовились издать листовки с информацией о Муромских и Александровских волнениях рабочих — закупили фотобумагу, закрепители и проявители, но тут надвинулись новые замыслы, и фотоматериалы остались лежать — дожидаться следователей.

Внезапно Иванов-Скуратов объявил Осипову, что время для террора приспело. Как раз наступили дни берлинского кризиса — казалось, человечество вползает в третью мировую войну. Не сегодня — завтра очередной агрессивный и неконтролируемый взрыв Хрущева грозил миру ядерным уничтожением. В этой жаркой летней ситуации планы Иванова-Скуратова зазвучали убедительно и маняще. Спасти человечество решительным действием! Гаврила Принцип своим выстрелом в Сараево вверг мир в катастрофу Первой мировой войны с двадцатью миллионами жертв; они же, как им казалось, одним удачным выстрелом спасут двести миллионов жертв Третьей мировой войны!

У Иванова-Скуратова уже нашелся исполнитель. Это был некто Ременцов, с которым он познакомился и которого завербовал на больничной койке Ленинградской спец психбольницы. Но нужны были помощники в деле. Выбор Иванова-Скуратова, естественно, пал на Осипова, товарища еще по университетской нелегальной группе, к тому же один раз пожертвовавшего собой ради него. Осипов сначала возражал. Характерно, как он в разговоре со мной обосновал свои возражения:

— Мне казалось странным и непорядочным: как это кто-то другой будет по нашему приказу стрелять и отправляться потом в тюрьму, а мы останемся в

стороне. Это не по мне. Но Иванов объяснял, что мы — сверхлюди (он ценил Ницше) и что черновая работа не для нас: мы создаем ситуации и условия...

Но одного Осипова было мало. Кого еще привлечь? Выбор остановился на Эдуарде Кузнецова.

— Сейчас смешно вспоминать, — рассказывал Осипов, — а тогда Иванов долго присматривался к Кузнецову: слишком крепкий, слишком спортивный — не кагебист ли?

Кузнецов дал согласие.

С Ременцовым, «исполнителем», ни Осипов, ни Кузнецов не были знакомы: Иванов-Скуратов скрывал его от всех. Задачей «шеф» поставил разузнать маршруты Хрущева и снять квартиру по пути следования болтливого премьера.

Но пока шли разговоры на эту тему, берлинский кризис разрядился, опасность войны отодвинулась, и смысл террористического акта в глазах исполнителей испарился. Вот почему ни маршрут не был выслежен, ни квартиру не достали¹². В сущности, кроме разговоров на тему: а что, если убить Хрущева, небось, хорошо было бы! — ничего из «террора» не состоялось.

К несчастью, разговоры велись почти открыто. Видимо, сказывалось именно то, что всерьез стрелять не собирались и не приступали к делу¹³. В этих условиях болтовня о несуществующем деле выглядит безопасной. Почему не поговорить, если интересно и романтично? О покушении узнали почти все активисты с площади, знал, конечно, и Сенчагов. Осипов рассказывал какие-то забавные случаи, как Буковский и Галанков, встревоженные разговорами об осиповском терроре, пытались вмешаться и предотвратить покушение. Кажется, Буковский попробовал напоить его и в пьяном виде загипнотизировать, чтобы под гипнозом узнать правду: будет покушение или нет? Когда Осипов понял, что происходит, он жутко возмутился, и у него произошло крупное объяснение с Галанко-

вым, которого он справедливо считал главой антитеррористической фракции. Это был их последний разговор. Через день Осипова арестовали, а когда он с зоны вышел, Галансков уже сидел.

Осипов любил Галанского... У Владимира есть немногая детская черта: он преклоняется перед славой своих знакомых и личных друзей, романтизирует их и возвышает. Но Галанскому все равно принадлежит особая жилка в его сердце. Ибо Галанков был поэтом... И потому Осипову неприятно рассказывать, что их последняя встреча состояла из взаимных упреков. Но тут уже теперь ничего не поправишь.

А потом — через день, кажется, — Осипова взяли гебисты. Он подробно описывал мне, как это случилось: утром, на улице, по дороге в школу — описывал, в каком месте, чертил план, где стояла их машина, сколько их было. Увезли его в милицию, там дожидались официального ордера на арест, и опять ему повезло: отпустили в туалет, и он успел до обыска уничтожить программные записи, находившиеся в кармане. Повезли обыскивать домой, и как раз в это время приехала в его девяностометровую комнату мать, и на ее глазах несколько часов подряд шел обыск, а она плакала, объясняла гебистам, какой у нее хороший сын и как она всем-всем обязана советской власти, которая дала ей образование...

— Володя, моя мама тоже говорила следователю, что только советская власть сделала ее образованной.

— Далось им это образование! — прорычал вполголоса Осипов...

...Потом отвезли в тюрьму: в следственный изолятор на Лубянке, знаменитую тюрьму, описанную Солженицыным в «Круге первом». Осипов оказался одним из ее последних заключенных: при нем она закрылась¹⁴, и его перевели в прославленное Лефортово... Там же, на Лубянке, прошли его первые допросы. Сначала предъявили показания Сенчагова. Они оказа-

лись составлены следующим образом: «Я, Сенчагов, и т. п., ходил на площадь Маяковского, где встретил молодых людей, среди них много наших, советских парней, которые любят нашу советскую власть, только немножко отклоняются в области литературы и искусства. Это Галансков, Хаустов и другие. Но среди этой, в основном советской молодежи, оказалось несколько негодяев-антисоветчиков, ведших активную организационную и подрывную работу и готовивших покушение на дорогого вождя Н. С. Хрущева: Осипов, Кузнецов и Иванов. Перед лицом такого чудовищного преступления я не могу молчать...» Осипов яростно отрицал всё, тогда ему стали задавать такие вопросы, что он понял: следствию известно многое больше, чем мог знать Сенчагов. Он не выдержал: «Несите показания Иванова». Следователь сладко улыбнулся и предъявил их. Иванов-Скуратов с потрохами заложил всех своих товарищей, вовлеченных им же в дело о терроре. Он назвал, выдал даже Ременцова, о котором никто из них, тем более Сенчагов, ничего не знал. Это было в полном смысле слова «всё как есть, ну, прямо всё как есть». Сопротивляться было бессмысленно.

— Володя, а как же ты после такого продолжал с ним сотрудничать, как сделал его членом редакции «Вече»? — обалдел я.

— Я из лагеря написал его родителям, упрекал их: я за него же выступал, а он меня предал! Получил от них ответ: Володя, дорогой, как вы можете в чем-то упрекать нашего сына? Вы знаете — он психически больной человек, зачем же вы завели с ним какие-то серьезные дела? Разве можно в делах полагаться на больного человека? И я подумал: а ведь верно, на себя надо сердиться — и прошла злость, годы все-таки это длилось... Остыл.

— Ну, а он сам, когда встретились, что он-то сказал?

— Меня же и обвинил. Ты, говорил, знал, что я — дурак*, мои показания юридически ничего не стоят, зачем их подтверждал?

Да-а-а... Поразило меня больше всего то, что Володя, будто оправдываясь, комментировал атаку Иванова: «Откуда же я знал, что он «дурак»? В первый раз признали дураком, а во второй могли не признать!» Как будто всё дело заключалось в формальной стороне — действительными будут показания для суда или нет?.. В любом случае показания Иванова давали следствию истинную, скрытую от посторонних картину происшедшего, и при любом исходе дела для самого Иванова (будет он признан виновным или сумасшедшим), показания его были бы *тайно* предъявлены судьям и определили их решение...

То, что Осипов возобновил с ним впоследствии отношения, по-своему характерно: я уже упоминал, что люди его типа исторически ищут рядом с собой идеолога и сознательно отдают ему первое место в деле. Иванов, первый человек с оригинальным мировоззрением, встреченный Осиповым в жизни, обладающий хлестким пером, к тому же обязанный Владимиру очень многим (а Осипов благодарен тем, кому сделал добро), на годы оставался для него в деле номером первым — несмотря на предательство. Была в этом «всёпрощении», в этой обычно вовсе несвойственной Осипову моральной снисходительности к Иванову еще одна черта. Черта, свойственная не ему персонально, но социальному направлению, которое он возглавлял и представлял, — русскому монархонационализму. Об этом я вспомню ниже, когда речь зайдет о журнале «Вече».

* Напоминаю, что на лагерном жаргоне «лураками» зовут психически больных людей.

9. КОГДА ИЩУТ БОГА?

Следствие для Осипова прошло очень тяжело. Страшно сидеть, ничего не успев совершить и не оставив никакого следа. Страшно сидеть, когда предан другом. Но Осипов вдобавок сидел в дни ХХII съезда КПСС, когда, казалось, Хрущев перестал колебаться, как кусок в проруби, между «глуповским либерализмом» и сталинизмом и снова взял курс на разоблачение Сталина. Быть обвиненным в покушении на жизнь деятеля, который ведет нужную и правильную в твоих же глазах политику — тяжело для мыслящего политзаключенного. Это ломало Осипова.

А когда человеку невыносимо тяжело, он ищет опоры в том, что незримо живет в душе и просыпается в часы ухода от суеты, — в Боге. Владимир, воспитанный в советском духе, воспринимал Бога только как воплощение слабости человеческой. И ему, человеку сильному и гордому, невыносимо трудно было признать Бога — все равно что отречься от себя.

— Помню: в камере решил перекреститься. А рука тяжелая, будто двухпудовую гирю держу — не поднимается. Еле поднес ее ко лбу, к плечам и уронил, обессилел.

Так начался его возврат к вере.

Потом настал суд.

— Приговор был зверский, — рассказывал Осипов. — Мне и Кузнецовой 7 лет строгого режима, предел по статье (ссылку тогда никому не давали); Бокштейн получил 5 лет. Зверский — потому что судили нас за одни намерения: за намерение создать партию, за намерение выпустить листовки или убить Хрущева. Ничего ведь не сделали — и за это дали максимум срока по статье! После приговора Лена Титова (она потом повесилась в эмиграции, в Париже) прорвалась к нам и вручила каждому по букету цветов. Знаешь, единственное, о чем в своей жизни сожалею, един-

9

ственное пятно, которого стыжусь, — что, пытаясь спасти, признал себя виновным...

Почти все свидетели дали против нас «откровенные показания». Тогда такое было на всех процессах. Единственное исключение — Ира¹⁵...

Тут Володя назвал фамилию свидетельницы — я забыл ее.

— ...девушка, хозяйка одной квартиры, где проводились совещания. Человек, совершенно посторонний в наших делах, случайная в компании, знакомая кого-то из знакомых. Все, кто совещался на ее квартире, дали показания. Ей в случае откровенности ничего не угрожало — она ни в чем не была замешана, — но молчала. Вызывали в ГБ, просили, грозили — нет, и всё! Ничего и никого не видела, ничего не помни. Такое удивительное было тогда явление... Все семь лет первого моего срока первый тост, чаем, мы поднимали за двоих — за лекабриста Цебрикова, единственного по делу 14 декабря, кто не дал показаний на товарищей, и за нашу Иру. Я, кончив срок, разыскал ее, хотел поблагодарить: она открыла дверь, сразу узнала — а ведь мы были знакомы один вечер и прошло с него 8 лет, — побелела и сказала: «Я не знаю вас, уходите, пожалуйста». Я ушел.

...Слушая Владимира, я думал, как изменились времена... Всего 15 лет спустя после их процесса уником стал свидетель, который дает «откровенные» показания, — вроде Петрова-Агатова! В этой детали, может быть, не оцененной самим Осиповым, — мерка медленного, но неотвратимого выздоровления общества от падения и подлостей социалистических времен.

10. РЕЖИМ БЫЛ МЯГЧЕ...

«Подельники» были отправлены в Мордовию, в «Дубровлаг». Осипов попал на 17-ю зону, где после

него побывали Гинзбург и Даниэль, Ронкин и Галансков, Чорновил и Стус, Болонкин и Дымшиц (и аз, многогрешный)...

В его пору там сидело до тысячи мужчин¹⁶ (а когда она закрывалась, при мне, оставалось всего 38 человек! Остальных перевезли подальше на север, в Пермские лагеря). Да еще напротив находилось женское политическое отделение... Глухих трехметровых заборов со спиралями Бруно еще не существовало, стояли обыкновенные колья с рядами колючей проволоки. Можно было видеть зазонное пространство, включая линию горизонта, и даже вдали обитателей женской зоны.

— ...вообще тогда режим был много мягче, — сравнивал Осипов. — И с продуктами много легче нынешнего, а в карцер на ночь разрешали брать бушлаты, укрываться. Да и нары имелись, лежали мы не на полу. Никто не карал за политзанятия. Выстояли первый раз, получили свои сутки ШИЗО за прогул политзанятий, всё — теперь мы вроде «в законе», до конца срока имеем право не ходить*. Одно тогда требовали в зоне всерьез — норму; остальное начальство не трогало. Когда освобождался, все мои бумаги, все конспекты отдали, до листочка — тогда в голову не приходило, что могут не отдать, как сейчас. Да я с зоны мог всё, что хочешь, хоть целую книгу передать — только это казалось ненужным. Попадались среди начальников сволочи, один угрожал: «Вы должны научиться смотреть в землю перед советским человеком» (он так называл надзирателей), но в целом было... ленивее, что ли? Дни шли, недели, месяцы, годы — нас не трогали. Иногда вдруг вроде проснутся, куснут — и опять успокоятся. Сейчас в зонах времени ни на что

* К моменту нашего разговора демократ Сергей Солдатов за отказ посещать политзанятия получил восьмое (!) взыскание подрял, восьмое лишение права закупать продукты в лагерном ларьке (это право возобновляется ежемесячно).

не хватает, каждую минуту выкраивая для себя, а тогда, бывало, сидим на скамеечках и рассуждаем: вот годы прохолят и пропадают, ничего не лелается...

На этап нас повезли втроем, и на потьминской пересылке у Эдика Кузнецова завязался роман «через проволоку» с Аделью Найденович: ему всегда везло на женщин... Адель была красивой, черноглазой, тогда еще студенткой — она получила 5 лет за хранение книги, кажется, Милована Джиласа: выдал товарищ, который дал книгу на хранение¹⁷. Тяжело ей лоставался лагерь. С Эдиком они потом и в зоне ухитрялись переписываться...

Здорово мне помог лагерный друг, Виктор Авдеев, помнишь, на суде которого я побывал... Он встретил на вахте и ввел в ритм зоны.

Рассказы Осипова о семи годах, проведенных в зоне, настолько обильны и разнообразны, что злесь я могу привести лишь несколько разрозненных новелл — нет ни времени писать подробно, ни «объема» для переправы: я и так почти исчерпал лимит посылки. Вот первая из отобранных новелл.

НОВЕЛЛА О ТОМ, КАК ПЕРЕЛОМИЛАСЬ МОЯ ЖИЗНЬ

... Первые месяцы в зоне стали временем выучки в национальном вопросе. Раньше я над ним не задумывался. Но в лагере сталкивался постоянно с бес tactным расчесыванием национальных язв на виду у всех, с постоянными оскорблениеми националов в адрес русского народа. Особенно усердствовали евреи и украинцы. Особняком подвергалось всё: наше происхождение, наши традиции, вера, культура, даже наш язык. Спорить с ними было бессмысленно: они не искали истины, они жаждали оскорблений. Теперь я понимаю, что часто они даже не имели намерения оскорблять, просто были бес tactными... Я понял это поз-

же, когда однажды услыхал от евреев обвинения в антисемитизме «Вече», причем цитировались такие места, где у меня, как у редактора, и мысли не возникало об антисемитизме данного автора. А евреи, оказывается, ощущали это, болезненно чувствительно. И, наверно, были правы они... Но точно так же бестактно некоторые из них вели себя по отношению к нам, русским — тогда, в зоне. Кончилось тем, что русские перестали разговаривать с евреями!

Сейчас совсем другая обстановка, но, скажу честно, если бы моя партия увидела меня в гостях у Пэнсона на еврейскую пасху, меня бы повесили. А уж если бы увидели евреев, которые приходят к нам в гости на христианскую пасху...

Через несколько месяцев после этапа вызвали меня в штаб и прочли новый приговор. Оказывается, по протесту прокурора состоялся пересмотр нашего дела в надзорном порядке...

К моменту моего разговора-интервью с Осиповым я уже знал, что такое «пересмотр дела в надзорном порядке». После окончания суда, после утверждения приговора в «окончательном и не подлежащем изменению виде» советское судопроизводство предусматривает такую процедуру: прокурор требует пересмотра дела «по вновь открывшимся обстоятельствам»¹⁸. Собирается суд, на котором должна присутствовать лишь *одна* сторона — обвинение, т. е. прокурор. Ни адвоката, ни самого обвиняемого уже нет, и обязательность их присутствия не предусмотрена законом. Более того: ни адвокат, ни обвиняемый могут *ничего не знать* о том, что где-то происходит новый суд взамен произшедшего при открытых дверях. Публика, естественно, на это заседание тоже не допускается. И, согласно советскому закону, в заседании могут вынести новый приговор, причем, в отличие от кассационного суда, этот секретный приговор может *увеличивать* меру наказания вплоть до смертной казни! Пре-

делом является только предел наказания за данное преступление согласно статье уголовного кодекса.

Обвиняемому сообщается приговор, когда тот уже вынесен — в качестве совершившегося факта!

— Нам, мне и Кузнецovу, сроков не добавили — мы уже и так имели предел по статье. Но что сделал суд — изменил строгий режим на особый...

К сведению читателей: разница между строгим и особым режимом — громадная. Например, на особом режиме заключенный весь день проводит запертым в камере, у него в два раза меньше свиданий и дозволенных писем, в полтора раза меньше продуктов, чем на строгом, — и все это не на месяц, не на год, а на семь и более лет (я не слыхал, чтобы на «спецу» сидели с меньшими сроками).

— Быстро набрал несколько чемоданов продуктов: на этапе конвоиры помогали тащить. Не свое вез, конечно. Литовцы услышали, что есть этап на «спец», и передали продукты для земляков. Много я привез тогда Паулайтису*.

На спецу голодно было. Помню, кто-то завыл из камеры на часового: «Жрать хочу! Жрать хочу!» — как волк на луну. А тот в ответ: «А я откуда тебе возьму!»

Сблизился я там с одним эстонцем. Твердый был человек... Потом-то он подал помиловку, я сильно удивлялся, мне такое во сне не могло прийти в голову. И с ним произошел разговор, который перевернул всю жизнь.

Рассказывал он про финскую войну — как смотрелась она с той, другой стороны фронта. Описывал с упоением, как гнали русских солдат на финские пулеметы, как раскалялись у финнов стволы, так, что кожа

* Паулайтис Пяトラс, литовский богослов и дипломат, отбывающий в Мордовии 33-й год из своего 35-летнего срока за участие в литовском национально-освободительном движении (он был редактором подпольной газеты). [Прим. 1980 г.]

на ладонях у пулеметчиков сгорала, а какой-то идиот всё гнал и гнал русских волнами, и они ложились на снег, пока перед траншеями не выросли холмы из русских трупов. Всю ночь после того рассказа я не спал. Думал — хорошо, все сочувствуют финнам, они — жертвы агрессии, они защищают родину, герои и мученики, ну, а кто же подумает о русских, о тех, кто легли в снег? Ведь они тоже люди, и тоже жертвы, и с ними обращались безжалостнее и беспощаднее, чем с финнами. Плохие они или хорошие, за правое дело или за ложное, они — мой народ! Другого мне Бог не дал! И я буду с ними до конца, я буду защищать своих до конца, всеми силами, которые Бог вложил в мою грудь. Я — русский и буду с русскими и за русских. С той ночи я перестал быть демократом и стал русским патриотом.

...Зачем нас этапировали тогда на «спец»?

Не знаю. Было жаркое, страшное лето, засуха, всё вокруг горело — леса и даже болота, надзиратели непрерывно предупреждали — расстрел, расстрел в случае побега, потом стали в открытую говорить: последние деньки доживаете, скоро весь спец расстреляем. В «Правде» появилась статья «Об усилении борьбы с преступностью», ходили слухи, верные или нет, что в условиях засухи и провала хрущевских планов в сельском хозяйстве возникла идея показать твердую руку, «твердую власть», и начнут эту твердость с массового расстрела лагерей особого режима. Чтобы напугать остальное население. Мы считали, что чья-то услужливая голова приняла решение: такие ужасные террористы, хотевшие убить Хрущева, должны быть расстреляны, и потому-то нас передали на «спец». Говорили и другое, вроде этот расстрел задумали заговорщики, они уже готовили переворот и надеялись, что расстрел заключенных станет новым ударом по авторитету Никиты. Одно сообщали в голос: расстрел отменил лично Хрущев, когда подготовленный доку-

мент уже лежал у него на столе. Если это верно, то после отмены расстрела исчезал всякий смысл в нашем пребывании на спецу, и через 7 месяцев нас вернули на строгий режим.

Формально это произошло так: адвокаты подняли в Москве шум — почему суд вынес нам особый режим? В законе сказано предельно ясно: на особый режим помещаются либо рецидивисты, либо — по первой судимости — только помилованные 15-ю годами смертники. Но мы все были с первой судимостью и не смертники. Суд собрался в третий раз и вынес приговор — третий. Якобы вообще он, суд, имеет право в *особых случаях* отправлять на спец не рецидивистов или смертников, а кого посчитает нужным! Но в данном казусе таких особых обстоятельств у суда нет, и потому следует вернуть нас на строгий режим обратно. То есть «вообще» суд имеет право нарушать закон, но в данном случае в нарушении не возникало нужды, а потому рекомендовано поступать по закону... Так нас и вернули.

НОВЕЛЛА ВТОРАЯ, РАССКАЗАННАЯ ВЛАДИМИРОМ ОСИПОВЫМ В КУРИЛКЕ СБОРОЧНОГО ЦЕХА: ОДНОФАМИЛЬЦЫ

Дважды мне довелось встретить в зоне однофамильцев.

С первым познакомился через лагерную многострижку. Прочел заметку, где зэков призывали трудиться на благо социализма и для строительства коммунизма. Подписано: «Осипов В.» и номер моего отряда. Я написал в редакцию, мне ответили, что вышла ошибка, подписал Осипов, но из другой зоны, из другого отряда, — однофамилец. Потребовал исправления — на меня наорали. Тогда я дождался общелагерного собрания, когда вручали награды и премии за

перевыполнение плана. В президиуме сидела вся сучня и торжественно слушала приказ о своих наградах. И тут я выскочил и закричал, что в газете написана ложь, что я ничего туда не писал, что это подлая провокация и я протестую против использования своего имени в этом подлом листке, что мое имя этим испачкано! Кричу, а сам внутренне сжался: жду — сейчас набросятся менты, закрутят руки, поташат в ПКТ! Ничего похожего: прокричался, сошел, а они с того же места, на котором я их прервал, продолжают бубнить приказ. Будто ничего не случилось! Я в первый раз столкнулся с таким невозмутимым бесстыдством.

А в следующем номере газеты появилась маленькая поправочка, что Осипов В. — из отряда номер такой-то... Не опровержение, а просто справка — другой номер отряда. Я потом этого Осипова встретил на этапе: ничтожный человечишко, присыпал после освобождения благодарственное письмо отряднику в зону.

А второй однофамилец, Осипов, оказался учителем из-под Ленинграда. Записывал в дневник разные мысли о политике. Случайно дневник попал в руки кого-то из знакомых, тот донес в ГБ, и Осипов отсидел 10 лет от звонка до звонка за дневник — я сам читал приговор. Вот какие случаи происходили в либеральные хрущевские времена.

*НОВЕЛЛА ТРЕТЬЯ: РАССКАЗАНА ВЛАДИМИРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ОСИПОВЫМ ПОСЛЕ СМЕНЫ НА ГРУДЕ ДОСОК ВОЗЛЕ РАСКРОЙНОГО ЦЕХА ЗОНЫ 385/19.
ФАЙНЕР-ЗАЙЦЕВ*

Сидел у нас в отряде пожилой еврей по фамилии Файнер, который упорно хотел, чтобы его называли русским и Зайцевым. Срывал бирку с кровати, отказывался носить нашивку «Файнер»: «Я — Зайцев!» — насмерть! Ларька его лишали, в ШИЗО сажали: «Я —

Зайцев!» Был он с идеологическими претензиями: однажды гуляли с Бокштейном, он подошел к нам и начал читать составленную им программу восстановления России. И неглупая оказалась программа, я даже удивился, как вдруг подходит он, скажем, к подпункту № 7 пункта № 19 под заглавием: «Положение евреев в России». Помялся он, покряхтел, глядя на Бокштейна, потом решился — прочел. Еврейский план Файнера таков: все евреи России делятся на три категории. Тс, кто хочет, уезжают в Израиль. Кто желает ассимилироваться, получают русские паспорта. Кто не хочет ни уезжать, ни ассимилироваться, выселяются в три портовых города: Ленинград, Одессу и Владивосток...

(Тут слушатели Осипова захохотали, и сам он улыбнулся.

— Не дурак Файнер-Зайцев, — фыркал Лысенко.
— На таких условиях каждый захочет стать евреем.

— Сумасшедший, — махнул узкой ладонью Пэнсон. — Разве нормальный человек захочет стать Зайцевым, когда у него такая красивая фамилия — Файнер...)

... Уже кончил я срок, работаю в александринской пожарке, издаю «Вече». Вдруг на дежурстве говорят: тебя спрашивает кто-то. Выхожу — Файнер-Зайцев! Обшарпанный, голодный, но весь светится.

— Устин Гаврилович, — спрашиваю, — вы ко мне?

(— Ах, он еще и Устин Гаврилович, — сухидно комментирует Пэнсон.)

«...явился, отвечает, в полное ваше распоряжение, Владимир Николаевич! Делайте со мной, что надо — хочу помочь 'Вече'». Мне люди были нужны, я его тут же, в пожарке, оставил ночевать, подкормил, приспособил к делу. Печатал он «Вече». Потом разочаровался. Журнал был культурного направления, а ему хотелось ввязаться в политическое мероприятие.

Всё жаловался: не хватает нам, Владимир Николаевич, боевитости. И ушел куда-то — искать боевитость. Потом дошли слухи, что гебисты упекли его в дурдом. А когда я уже сидел во Владимирском изоляторе, прочитал приложенную к делу справку: свидетель Файнер-Зайцев не дал показаний ввиду внезапной смерти в спецпсихбольнице. Что там случилось — Бог знает. Жалко его. Пожилой, а такой самоотверженный. Смешной, конечно, но ведь себя не жалел никакого. Я его всегда поминаю добром.

НОВЕЛЛА ЧЕТВЕРТАЯ: О ДВУХ РЕНЕГАТАХ И ВАЛЕНТИНЕ ЦЕХМИСТЕР-МАШКОВОЙ-ОСИПОВОЙ, РАССКАЗАННАЯ ВОЗЛЕ СТЕНДА С ГАЗЕТНЫМИ ВЫРЕЗКАМИ

В выходной день я заметил Осипова возле стендса, где одногорий лагерный библиотекарь прикреплял гвоздиками вырезки «воспитательного характера» из советских газет. Как правило, это отчеты о судебных процессах над военными преступниками. Заметки кончаются по стандарту: «Собравшиеся в зале суда с одобрением встретили смертный приговор». Последние годы «вышки» идут конвейером... По словам военных, такое количество казней приводилось в исполнение только в свежий послевоенный период. Ренессанс смертей «старички» объясняют весьма прозаическими соображениями: «Старые мы стали, на воле нас оставлять — так пенсию платить надо, в зоны сажать — так уж работать не можем, нас и списывают»...

Может, они правильно понимают?

Что мог найти Осипов на таком стенде?

Подхожу. Большие вырезки из нескольких газетных полос — воспоминания некоего Евг. Дивнич: в предисловии сказано, что с довоенных лет Дивнич работал председателем основной партии русской эмиграции — «Национально-трудового Союза» (НТС)...

— ...я знал его по зоне, — кивнул Владимир на стенд.

— Вместе сидели?

— Нет, он освободился раньше. А при мне приезжал с гебистами в зоны ссучивать заключенных. Ходил по зоне свободно, без гебистов, выступал по лагерному радио, интересно выступал, многое приличнее обычного гебистского уровня. Запомнился он портфелем — тем удовольствием, с которым его носил. Знаешь, есть люди от природы способные, но всё готовые отдать за портфель — даже не за деньги, а вот именно за возможность ходить с большим портфелем. Помню, как он уговаривал подать помиловку моего тогдашнего друга Славку Репникова — подло уговаривал, даже гебисты не бывают такими низкими людьми. Помню, как прохаживался по зоне с Овчинниковым, и тот вскоре подал помиловку...

Кто Овчинников? А ты не помнишь в 58-м году огромное, чуть не на целую полосу в «Известиях» интервью с бывшим сотрудником вражеских радиостанций Иваном Григорьевичем Овчинниковым? О нем тогда шумели. Фотография — Иван Григорьевич сидит перед микрофонами в центре, среди двух гебистов, с усиками и галстуком. Интервью в Восточном Берлине, всё, что положено по инструкции: как сделал преступную ошибку, бежав на Запад из советских оккупационных войск в Германии, как убедился, что Запад прогнил, и решил вернуться на советскую родину. Снова выбрал свободу — на этот раз настоящую. Стандартный кал! Потом, оказывается, Иван-Григорьича в почетном купе довезли до Бреста, где с поезда сняли, отвезли в камеру местного изолятора и зачищали там смертный приговор, вынесенный заочно и подлежавший исполнению в случае его появления в пределах СССР. Тут-то Иван Григорьевич горько пожалел о своей доверчивости и о гнилом Западе, пронизанном евреями, и после обморока спросил: нельзя

ли что-нибудь сделать для смягчения участи? Объяснили: можно. Дайте самый обширные и искренние показания о тех учреждениях, в которых служили на Западе. Он постарался, и «вышак» ему милостиво заменили 15-ю годами. Отбыл он немного, лет 7 или 8, и после бесед с Дивничем вышел на свободу по помиловке. Я потому так подробно о нем рассказываю, что он сыграл жуткую роль в жизни моей жены Валентины, в девичестве Цехмистер. Помнишь, шла по делу Машкова?

Первый срок она не отсидела полностью. Была такая мини-амнистия в начале 60-х годов: по помиловкам Президиума Верховного Совета, сделанным по инициативе администрации, вышли тогда несколько человек. Пименов, Трофимов, ну и Валентина тоже. Она, кстати, объясняла эту «милость» в какой-то степени своими заявлениями, которыми бомбардировала власти из Владимирской крытки: что вы делаете, у вас сидят молодые люди, которые пошли дорогой ХХ съезда, и теперь, после ХХII съезда, когда КПСС решила продолжить линию антисталинизма, какой же смысл их держать в зоне? Я вполне допускаю, что из этих призывов что-то до кого-то дошло — потому и амнистия... Власти, в общем, оказались правы: большинство освобожденных в зоны не вернулось. Убеждения у них остались, конечно, прежними, но от активной борьбы практически отошли...

Отбыв первые пять лет, Валя вернулась на родину — в станицу на Северном Кавказе. Милосердный директор школы принял ее учительницей: началась лервенская жизнь, с темными вечерами, без единого близкого человека рядом — родители ничего не понимали в духовных поисках дочери. Жизнь без будущего. Вдруг через несколько лет появляется в станице освободившийся из заключения Юрий Машков, руководитель их группы. До этой встречи между ними были чисто товарищеские отношения, но, когда он появился

в деревне, как луч света в темном колодце, очень скоро встал вопрос о браке.

Продолжался этот брак несколько месяцев и, по воспоминаниям Вали, был страшно несчастным — для нее. В зоне Машков из социал-демократа стал русским патриотом, — Владимир Николаевич смущенно улыбнулся. — ...убеждения у него были очень хорошие, а вот употреблял он их ужасно. Валю он буквально терроризировал «Домостроем» — внушал, что это старая русская книга, в которой объясняется, какой должна быть жена — вот и стань такой! Раскроет Валентина томик Гегеля, он вырывает книгу из рук: в «Домострое» не сказано, что жене позволено читать философию. Из таких инцидентов состояла семейная жизнь с утра до вечера. Валентина, бедная, до сих пор с ужасом вспоминает «Домострой»: как-то я при ней похвалил эту книгу, она задрожала, зарыдала: «Господи, неужели опять, снова! Неужели «Домострой»?» Надо вдобавок знать ее характер — она женщина гордая и самостоятельная, подчиняться способна только в условиях свободы. Мечтала, чтобы муж ее бросил, сама оставить его не могла — на верности, на долг замешана.

Жили они в Подмосковье, у Машкова, и повадился к ним в гости приятель Машкова по зоне, Иван Григорьевич Овчинников. И в каждый приезд восхвалял европейские прелести, как он там счастливо жил и какой дурень, что оттуда свалил. Загорелся Машков идеей побега — вместе, конечно, с Иван-Григорьевичем. Тот, разумеется, всегда готов. Валя согласилась бежать, в дело втащили и двоюродного брата Машкова, молодого парня. Накануне отъезда заводила Иван-Григорьевич вдруг отказался: стар и так далее... Втроем они отправились на Дальний Восток. Увидели вдали на рейде японское судно, разделись, запрятали одежду и поплыли. Плыть далеко, брат Машкова вдруг закричал, что ему свело ноги... Машков, не обращая

внимания, упорно плыл к японскому судну. Валентина пожалела родственника, крикнула, что тоже тонет, тогда Машков повернул обратно. Доплыли до берега, нашли одежду, спокойно вернулись в Подмосковье — никто их на берегу не засек. И снова стал похаживать дорогой друг Иван-Григорьевич и петь дифирамбы той Европе, которую он заливал грязью с известинской полосы. Машков вторично вместе с Валентиной сделал попытку пересечь границу — на этот раз в Финляндии. Их задержал погранпост. На следствии в Ленинграде Валентина, уже беременная, держалась исключительно стойко — отрицала всё. В сущности, у начальства не было никаких доказательств, но раскололся Машков. Причем признал не только факт умысла на переход границы, но и то, что Валя знала об этом. Зачем он ее топил — есть у меня свои соображения... Но и он отрицал политические мотивы перехода границы, т. е. измену родине. В худшем варианте, им грозило по три года лагерей общего режима. Однако у ГБ нашелся свой козырь: в город на Неве, в гостиницу «Астория», украшенный своим милым галстуком — он у Овчинникова все равно, что портфель у Дивница, — приехал за счет славных питерских чекистов Иван Григорьевич, известный «патриот». Стал похаживать в Большой Дом, рассказал об их первой попытке, на Дальнем Востоке, и привезли в следизолятор нового заключенного — брата Машкова. Потом договорился до того этот опытный ээк, что однажды и сам не вернулся в «Асторию» — переселился в камеру в качестве подельника...

Но у ГБ все еще не было доказательств «антисоветских мотивов» перехода. А без них дело Машковых и К° не обещало «навара» следователю. Разница между простым переходом границы (до 3-х лет) и переходом по политическим мотивам (до расстрела) ощутима не только подсудимым, но и следователем: за раскрытие «измены» почти наверняка светит новая

звездочка на погонах. И в одно воскресенье, в выходной для следствия день, разыгралась в кабинете на Литейном 4, трогательная сценка: следователь, пре-небрегши законным отдыхом, принялся объяснять Иван-Григорьевичу, что он, следователь, стар, это его последнее дело, и теперь от Иван-Григорьича всецело зависит его жизнь. Помогите мне, посочувствуйте, откровенно, Иван Григорьевич, и никакой лжи, одну правду, скажите, что они — антисоветчики, разве я неправ, разве я прошу вас лгать или на кого-то клеветать, и сделаете вы меня, Иван Григорьевич, своим должником на всю жизнь, а уж я найду возможность отблагодарить вас. Дрогнуло отзывчивое сердце Овчинникова, и признал он антисоветские настроения Машкова и его жены Вали. Самое удивительное, что об этом соглашении со следователем он сам рассказал Вале на очной ставке, а когда она пробовала укорять его, он отрезал ей, беременной женщине: вы, Валентина, должны знать свое женское место и не браться рассуждать о том, чего вам, как женщине, не дано от Бога понять!

Приговор им вынесли такой жуткий, что даже кассационная инстанция, которая никогда не снижает сроки по политическим статьям, на этот раз смутилась: Верховный суд срезал сроки почти на треть — Вале с 10 лет до 6. Слишком постарались несчастный следователь и по его совету ленинградский суд, так что даже советский Верховный суд не выдержал... Валентина моя отсидела в два захода 11 лет.

К моменту нашего разговора я уже знал продолжение истории Валентины Цехмистер-Машковой: она не смогла простить мужа, дрогнувшего в ГБ, — жизнь с человеком, давшим на нее, мать его ребенка, показания следователю, казалась ей морально недостойной. Отбыв свои 6 лет, она взяла развод и уехала опять на

Северный Кавказ к родителям, которые воспитывали ее «тюремную» дочку. Однажды туда заехал Владимир Осипов — адрес Валентины ему дал кто-то из лагерных друзей как адрес верного человека, который может стать помощником в издании и распространении начинавшегося «Вече». Владимир Николаевич сколачивал всероссийский журнальный актив... Они полюбили друг друга с первого взгляда, и Осипов как-то признался: «Я ждал ее всю жизнь».

Так этот эпизод был написан в первом варианте рукописи, который читал в зоне Осипов и одобрил его. Но... пока велись переговоры о переправке, в лагерь пришли новые сведения: Юрий Машков окончил срок и оказался на воле... Смущенно запинаясь, Владимир Николаевич однажды попросил меня: «Если будешь это печатать, не ругай Машкова: он сейчас на Западе и ведет себя вполне прилично».

Конечно, я бы выполнил эту просьбу Осипова — кому судить, что из его воспоминаний годится для печати, а что нет, кроме него самого! — если бы... если бы еще раньше он не рассказал мне один случай.

1975 год. Осипов арестован по делу «Вече». И вот на одном из допросов ему показывают поступившее в ГБ заявление из лагеря от Юрия Машкова: «Владимир Осипов арестован! Наконец-то...» — и далее грязные, доносные, подлые строки, характеризующие — пусть ненавистного соперника, но все-таки товарища по убеждениям, единомышленника. Про Валентину ее бывший муж написал в ГБ, что она — психически нездорова в силу своей религиозности. Учитывая психическое здоровье профессора Лунца, это был вполне понятный намек для рыцарей Феликса Дзержинского и Юрия Андропова¹⁹.

Выше я обещал разъяснить мои соображения, почему Владимир Осипов, человек высокоморальный и высокомужественный, бывает столь снисходителен к аморальности своих товарищей по «партии». Слиш-

ком часто, по-моему, он был вынужден горькими обстоятельствами принимать помошь из рук бесприципных по своей внутренней сути людей, которые по каким-то личным причинам считали нужным рядиться в модную идеологическую одежду — «русский патриотизм».

Приходилось ему пожимать руки людям, которые предавали ранее его самого или других товарищей, — по нужде: ибо лучших *перьев*, лучших литераторов не смог обнаружить в своем войске. Выхода не было — не нашел иных средств, иных сил.

Мне кажется, что здесь проявилась определенная неоформленность, незрелость, непоследовательность идеологии, которая написана на транспарантах «патриотов» и которая допускает в ряды своих приверженцев людей, чуждых вообще честному поиску правды или свободному изъявлению жизненной позиции. Я надеюсь, что национальная идеология русского движения созреет, выстроится в систему, очистится от скверны. Скажу честно, в этих надеждах я пристрастен: будучи большим приверженцем своего народа, я не могу не сочувствовать националистам другого народа, который испытывает угнетение самое страшное и самое скрытное, — как рак! Но в возрождение русской идеологии я поверю только в том случае, если она начнется с размежевания с теми, кто писал в ГБ грязные бумажки на товарищах. Нельзя делать чистое дело руками, запачканными гебистскими грязными рукопожатиями.

Вот почему я не исполнил просьбы Владимира Осипова и написал здесь то, что я написал.

II. ЛИТЕРАТУРА ДОЛЖНА СТАТЬ КОЛЕСИКОМ, ВИНТИКОМ...

Много новелл рассказал мне Владимир Осипов о людях, с которыми сидел первый срок. О поэте Соко-

лове, которого считал первым поэтом ГУЛага (цитировал его жутковатые, хотя сильные, выпукло четкие стихи). Об Андрее Синявском — интересно оценивал его Владимир Николаевич. Я уже поминал где-то, что ему свойственно преклоняться перед товарищами, добившимися знаменитости (очень детская и даже какая-то милая черта в политике-ветеране) — и это преклонение распространялось безусловно на Абрама Герца. Но одновременно он испуганно-настороженно оценивал язвительно-беспощадный зрачок автора «Города Любимова»:

— Ух, какие у него страшные стеклышики в глазах, как многое он видит в исковерканном ракурсе...

Кстати, это общее свойство почти всех лагерных политиков — они начисто не понимают автономности искусства от политики, не понимают, что «кошка гуляла сама по себе». Свободе они поклоняются, но литература, она должна стать служанкой партии свободы, она должна стать колесиком, винтиком какого-то, только, конечно, не «пролетарского» дела. Все-таки в чем-то антисоветские политики должны остаться советскими людьми — в такой они колыбели выросли! Заметно, что политики в зоне почти не читают художественной литературы (хотя каждая свободная минута тратится на чтение). Она их не особенно интересует. Поэтому насчет литературы они оставляют в пользовании привычные со школы взгляды, только вместо «пролетарской» называется какая-нибудь другая партия, способная использовать литературу на ролях бонны при невоспитанном народе.

... Планы на волю им задумывались большие. Издание «Вече» — минимум.

— Я не скрывал от товарищей, что буду издавать журнал, — рассказывал он. — Но над этим едва ли не смеялись. Что журнал! Ерунда, игрушки. Особенно двое моих товарищей... Если прочитают, они себя узнают. Я никого не осуждаю, что ушли в част-

ную жизнь, — это их право, но зачем заранее обещать иное? Зачем хвалиться? Ведь такая похвальба может подействовать на других, другие поверят им, и что с ними будет...»

В этой фразе: «Зачем обещать, если не сделать» — тоже характер Владимира Николаевича Осипова.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Очень верно, но лишь относительно студенческой молодежи. Национальные окраины в избытке поставляли националистов всех мастей — без всяких ссылок на марксизм. (Более того — активисты русского национализма по преимуществу вышли из лагерей, новарившись в одном кotle с националистами окраин, попавшись от них кое-чего, услышав впервые многое неприятное и часто несправедливое в адрес русских...) И еще — всегда (всегда!) сидящих за веру было очень много.
2. Судили 9 человек, дали троим по 10 лет, троим по 8, двоим по 6.
3. Авдесеву дали 6 лет.
4. Юрист Анатолий Иванов.
5. Бокшгейна арестовали не ранее августа 1961 года.
6. Наш митинг был назначен на 14 апреля — если не ошибаюсь, это день самоубийства Маяковского. Именно на 14 же апреля, поскольку это была то ли суббота, то ли воскресенье (скорее суббота), власти наметили и всенародное празднество в связи с полетом Гагарина. В последний момент, когда стало ясно, что наш митинг отменить не удалось, мы выработали — наспех, разумеется, на ходу — лозунг, который должен был явно и неявно стать стержнем нашего поведения на площади Маяковского в этот вечер: «Гагарину — ура! Маяковскому — трижды!» Именно потому меня и схватили (см. далее) дружинники из отряда ООН — созданного и опекаемого КГБ Отряда Особого Назначения для борьбы с антисоветской активностью на площади Маяковского. Возглавлял этот отряд какой-то

комсомольский вожак по имени Эдик, с армянской внешностью и армянской же фамилией, которую я запамятовал. Я был схвачен, когда в одной из кучек любопытствующих разглагольствовал на тему, что систему характеризуют не столько космические успехи, сколько самоубийства и убийства поэтов...

7. То или иное, даже самое косвенное, употребление слова «вождь» по отношению к кому-либо из тех, чьим легальным полем активности была пл. Маяковского, — существенное искажение духа явления. Такое понятие применимо лишь по отношению к его (Осипова) «вечевому» периоду, в начале же 60-х годов можно говорить лишь о лидерстве, даже не столько о «первенстве среди равных», сколько о «равенстве среди первых».

8. «Скуратовым» он стал лишь лет через 12, а тогда он был просто «Новогодним», так как появился в Москве после больницы под Новый 1960 год.

9. В Муром для сбора информации ездили Сенчагов и я, в Александров — Осипов и я.

10. Волокли как раз меня.

11. Днем, в Измайловском парке. Состав: Иванов-Новогодний, Осипов, Хаустов, Сенчагов и аз грешный. Предательство Сенчагова несомненно, а провокаторство под вопросом. Относительно Мельниковой и то, и другое под большим вопросом — если говорить о периоде с 1961 по 1970 год. О последующем десятилетии я судить не берусь, поскольку был далеко от Москвы. Есть масса прямых и косвенных свидетелей ее честности в тот период, когда я ее знал. Не отрицая роли агентов ГБ, не стоит преуменьшать значимость других шелей утечки информации, таких, как собственная неопытность и растяпистость, неизбежность — при вербовке и агитации — общения с множеством случайных людей, не умеющих и не желающих держать язык за зубами... Нет ничего легче, чем списывать все свои провалы на агентуру ГБ — тип сознания, рождающий по тому же принципу монстров: агентов сатаны, всепроникающих сионистов, масонов... Мне представляется безосновательной попытка из взбалмошной, пустоватой С. Мельниковой творить Мату Хари.

12. Не совсем так. Мною и человеком, чье имя я не могу назвать, был исследован один из наиболее часто используемых прави-

тельственными машинами маршрутов (Ленинградский проспект), а также нам удалось найти человека, в доме которого хранилась винтовка, и достичь с ним предварительной договоренности о заимствовании этой винтовки — разумеется, без посвящения его в наши планы.

13. Говорить стали уже после того, как отказались от террористических намерений: старинный спор о нужности и возможности террора. Впрочем, в этих спорах допускались туманные намеки на то, что для кое-кого из нас это не академическая болтовня, а вопрос выбора практического пути...

14. По слухам, следственный отдел перевели окончательно в Лефортово или в самом конце 1962, или в начале 1963 года. Во всяком случае, после нас на Лубянке еще сидели В. Балашов, А. Мурженко и Ю. Федоров.

15. Ира Мотобринцева — за отказ от показаний была исключена из МГУ.

16. Не более 500, но зато одни «болтуны», т. е. осужденные за агитацию. Все остальные «государственные преступники» содержались в мордовских лагерях №№ 1, 3, 7, 10, 11 и 19. В июне 1962 года начальство признало эксперимент неудачным (малый процент стукачей, в отличие от лагерей, где большинство бывших фашистских колаборантов; массовый отказ от работы; дух сопротивления...), временно ликвидировало лагерь № 17, разбросав его обитателей по другим лагерям.

17. Выдал ее А. Голиков (не путать с А. Голиковым из Ленинграда, осужденным по делу Трофимова), дали ей 4 года.

18. Это было не через несколько месяцев, а почти через полтора года (в июле 1963 г.), что существенно меняет картину, так как прокуратура имеет право на опротестование приговора «в порядке надзора» лишь в течение года с момента оглашения решения кассационного суда.

19. Осинову, как и всем политзаключенным, отлично известно, что Ю. Мацков был доносчиком, начиная — по меньшей мере — с 1960 года. Но доносил он — открыто! — на евреев, утверждая,

что это не грех: бороться с мировым еврейским заговором руками ЧК. Ныне проживающие в Израиле Ю. Меклер и Б. Подольский подтверждают отнюдь не платонический характер антисемитизма Машкова, каковой не помешал ему воспользоваться израильской визой для эмиграции в США. [О т р е д а к ц и и: Рукопись вместе с примечаниями Кузнецова уже лежала у нас, ожидая, когда будет собран весь материал к номеру. Пришло известие о смерти Юрия Машкова — в разговоре с нами Кузнецов заколебался: надо ли оставлять это примечание? не убрать ли из текста Хейфеца посвященный Машкову фрагмент? Вопрос трудный. И все-таки мы решили не следовать старинному правилу «о мертвых либо хорошо, либо ничего». Во-первых, нами руководит желание сохранить историю в ее конкретных деталях. Во-вторых, уже слышны попытки создать вокруг покойного Машкова ореол «неприменного героя», затравленного и замолчанного на Западе какими-то неназванными, но явно «темными» силами. Написанное Хейфецем и Кузнецовым не ставило целью опровергнуть этот ореол — когда оно писалось, Машков был жив, и никто не мог предположить, что из него станут создавать мученика. Мы берем на себя ответственность не подвергнуть цензуре эти печальные, обидные, но правдивые высказывания.]

Э. Кузнецов

(Окончание следует)

ХЕЙФЕЦ Михаил — родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский педагогический институт имени Герцена. Автор нескольких книг и статей по истории революционного движения в России. В апреле 1974 года был арестован за публикацию в самиздате предисловия к собранию сочинений Иосифа Бродского. Приговорен к четырем годам заключения с последующей двухгодичной ссылкой. Отбыв полный срок, эмигрировал. Живет в Израиле.

(K) №28, 1981

Михаил Хейфец

РУССКИЙ ПАТРИОТ ВЛАДИМИР ОСИПОВ

12. В ПОИСКАХ КРЫШИ

Так назывался очерк Осипова о его странствиях в поисках работы и прописки после освобождения из первого заключения. Мне не довелось на воле читать его сочинений, в том числе этого очерка, но, видимо, сам он описал свои приключения сочнее, чем это могу сделать я в зоне, поэтому ограничуся мазками, случайными штрихами в этой главке — вряд ли они вошли в тот Володин очерк.

В поисках московской прописки Владимир Николаевич наткнулся на бывшую соученицу. Был у женщины муж, который не хотел с ней регистрироваться, была большая девочка от этого мужа, которая, однако, считалась внебрачной, была денежная работа и комната в Москве — для счастья и социальной уверенности в себе не хватало ей *законного* мужа и *законного* отца для ребенка. Была она лихой авантюристкой и, в общем, кажется, неплохой бабешкой, смыщленной и хваткой. Предложила она разведенному «постзэку» интересную сделку: он фиктивно на ней женится и получает желанную прописку в Москве и соответственно работу... Потом разводится. Она же с этого оброда получит не менее желанный штамп в паспорте и отчество для ребенка.

«Брак» этот длился не то неделю, не то три, пока Осипов не догадался, что никакие «блаты» (главным приданным невесты, сыгравшим роль насадки на крючок, оказались знакомства в паспортном отделе) не

Окончание. Начало см. в № 27.

помогут перескочить барьеры, поставленные КГБ между ним и Москвой.

— Ведь знал я, что не надо мне ввязываться в эту махинацию, — почти восемь лет спустя еще досадовал Владимир Николаевич. — Есть люди для авантюров, для везения и удачи, у меня же никогда ни одна авантюра не выходила... И живет теперь где-то девочка с моим отчеством и фамилией.

— А ты не опасался, что она алименты будет высыпывать?

— Нет. Во-первых, не вышло бы: ребенок у нее родился, когда я прочно сидел в зоне. Ни один суд дела бы не принял, даже советский. Да не деньги ей нужны были — фамилия... Она не полная баба, просто авантюристка. Я на нее не сержусь.

Долго он крутился в заколдованным круге работы-прописки: прописку не дают, пока не работаешь, работы — пока нет прописки. Не работаешь — посадят за тунеядство. (В таком же положении, кстати, оказался одновременно выпущенный его подельник Эдуард Кузнецов — их пути пересекались в это время. Кузнецов разорвал этот круг, сколотив группу сионистов из Риги, которые решили угнать самолет и улететь на нем в Швецию, а оттуда в Израиль.) Осипов проломил это порочное кольцо, устроившись на единственную работу, куда взяли в СССР дипломированного специалиста-учителя: он стал бойцом пожарной охраны. Зарплата — 65 рублей в месяц (ниже установленного законом прожиточного минимума на 5 рублей). После этого его прописали по местонахождению «пожарки» в городе Александрове, Владимирской области (знаменитой когда-то Александровой слободе Ивана IV, а ныне захолустном городишке в захолустной области).

Все эти голы кочевий и гонений: из Калинина в Тарусу, из Тарусы в Струнино, из Струнина в Александров и т. д. — Владимир Николаевич усиленно

читал: славянофилов (Хомякова, К. Аксакова и др.), историков XIX века, а также устанавливал необходимые связи с московскими общественными кругами.

— Москва сильно изменилась по сравнению с тем, какой я ее оставил. Общественная жизнь оказалась на немыслимом раньше уровне. Людьми разных направлений обсуждались самые глубокие проблемы мира и жизни. В центре находились тогда Якир и его друзья. Только мое направление, направление русского патриотизма, находилось на отшибе: нашего голоса не было слышно. Я считал это несправедливым: я знал, что так, как думаю я, думают многие; это мысли значительной прослойки общества, и наш голос должен звучать для него. Знакомство с тогдашними москвичами утвердили меня в мысли, что издание «Вече» необходимо и время для этого издания наступило.

Среди знакомых, которых Осипов повстречал тогда в Москве, находилась Адель Найденович, «подруга через проволоку» Эдуарда Кузнецова. Она дружила с кругом Якира, жила у матери, известного московского врача, и московская милиция подвергала ее непрерывному моральному террору: каждую неделю в квартире появлялся участковый уполномоченный с неизменным вопросом: «Устроились на работу? Нет? И не замужем? А на какие средства живете? Если через месяц не устроитесь, передадим дело в суд по обвинению в тунеядстве». Но на работу опальную девицу никуда не принимали: «Закон о запрете на профессию», столь ненавистный коммунистам ФРГ, неукоснительно проводится в СССР, стране строящегося коммунизма, с той серьезной поправкой, что в Стране Коммунизма — работодатель один, и никакой работы неприятному работнику он не даст, и, кроме него, не даст никто! А за отсутствие работы полагается уголовное наказание... Таково было положение Адель Найденович: в любую угодную начальству минуту ее могли уволить в ссылку на 5 лет. Она спросила совета

у Осипова: как спасти? Ничего, кроме фиктивного замужества, он придумать не смог. (К тому времени развод его был оформлен.) Когда милиционер в очередной раз явился на квартиру Найденович, его поджидал Осипов: «Что вам нужно от моей жены? Она пойдет на работу, когда я этого захочу!» — «Извините, мы не в курсе...» — и Адель на какое-то время оставили в покос.

Так живут в Союзе ССР: из четырех браков Осипова два — фиктивных.

Один, чтобы купить право жительства вне «чертвы оседлости» для человека, освободившегося из заключения...

Другой — чтобы спасти одинокую женщину от тюрьмы, этапа, ссылки в отдаленнейшие места Сибири...

Такие бывают «многоженцы» в ССР.

Чтобы подвести черту под семейной жизнью Осипова, приведу напоследок два миниэпизода, касающиеся двух его фактических браков — первого и четвертого.

Как читатель помнит, первая жена Осипова, Аида, оставила его еще до ареста. Из заключения он написал ей письмо, в котором просил окрестить их дочь Катю. Получил ответный совет не вмешиваться в чужие семейные дела, ибо, оказалось, по советским законам отца, лишенного свободы на срок более 3 лет, не только разводят с женой заочно и без предварительного оповещения, но лишают отцовства точно так же — то есть не потрудившись даже *сообщить* отцу, что отныне он больше не отец собственному сыну или дочери... Случайно узнал Осипов, что его лишили не только свободы, но и — дочери.

Второй эпизод. Как-то я спросил Осипова, человека истово религиозного и страстно любящего свою жену (тоже, насколько можно судить издали, страстно религиозную), — венчаны ли они? К изумлению мо-

му, ответил — нет. Мы в то время были достаточно близкими людьми — возможно, поэтому он решил объяснить, в чем дело: «Конечно, я православный, но хочется, чтобы венчание происходило в стенах морально чистой церкви». — «Но разве отец Дмитрий Дудко..?» — назвал я имя его духовного пастыря, которого Осипов очень уважал. «Отец Дмитрий — христианин... — Владимир Николаевич говорил с трудом. — ...но хочется обвенчаться в церкви, которая не прислуживает атеистам. Если венчаться, то — в старообрядческой?.. Или в истинно православной?» — он замолчал.

Дочку Машкова, родившуюся в тюрьме и росшую долгие годы без родителей, любит он как родную. Собственного сына, родившегося после ареста отца, еще ни разу не видел, хотя сыну исполнилось уже четыре года. Рассказывала мне моя жена на свидании, что мальчик любит ходить, заложив руки за спину, и тогда мать набрасывается на него в слезах: «Господи, до чего ты похож на папку, арестант! ты мой!» — «Я похож на папу», — важно отвечает малыш. Когда он увидит отца, на которого так похож, ему исполнится восемь лет.

13. «У ПОЖАРНЫХ ДЕЛ ПОЛНО...»

Владимир Николаевич однажды сказал: «Я был неплохим пожарником — я ведь шустрой», И сказал это несколько горделиво.

«Пожарка» как место работы его устраивала, во-первых, потому, что ниже положения пожарника в Союзе ничего нет и уволить оттуда невозможно — ниже некуда. Во-вторых, режим работы (сутки в наряде, трое — дома) чрезвычайно нравился редактору нелегального журнала.

Но кто, кроме подпольщиков, согласен жить на 65 рублей?

Оказывается, две категории. Первая — освободившиеся из заключения алкоголики, которых никуда не берут и которые никому ничего не могут предложить, кроме своей жизни — в огне пожара. Вторая категория — наоборот, крепкие хозяйствики, которым на работе нужны не деньги — их они зарабатывают на приусадебном участке, — а штамп в паспорте «место работы» (тем более штамп МВД — как известно, пожарники состоят в штате МВД) для предъявления участковому милиционеру. Те и другие равнодушны к службе, и Владимир Николаевич с юмором изображал какого-то алкаша-пожарника, прорывавшегося на горевшую кухню, чтобы спасти оттуда вот-вот готовую взорваться поллитровку. И когда огонь слизывал последние руины на пепелище, уже имелось чем обмыть несчастье хозяина...

По словам Осипова, пожарное начальство беспокоится только насчет государственных объектов — частным домам дозволено гореть «синим пламенем». Техника, которой снабжены пожарники, отвратительна (не хватает даже противогазов, и двое пожарников из районной команды задохнулись в дыму потому, что полезли в горящую квартиру без них); выучка — какая уж тут выучка!

Всё делается нахрапом, в расчете на русскую бесшабашную отвагу, на то, что на пожар наплевать, но и жизнь полупьянику пожарнику недорога, — он и без техники полезет в огонь, если вдруг раззадорится...

Забавная деталь их духовного облика: пожарные «бойцы», оказывается, любят слушать «Голос Пекина». Ругань по адресу властей и призывы против «ревизионистских собак» скроены как раз по их мозгам.

...Этот рассказ Осипов рассказал мне уже после отбоя, за бараком, где находились лагерные каптерки,

— очень он ему казался важным, не хотелось ждать до завтра:

— Вызвали на пожар. Забрались мы еще с одним бойцом по запасной лестнице на крышу, оттуда пробились на чердак. Смотрю я и вижу — тлеют перекрытия. Прикинул, понял: очаг пожара вон там — за трубой. Если пройти по балке, чтобы достать его водой — очаг погаснет, тогда с пожаром легко справиться. Понимаю, надо идти; а боюсь. Чувствую — может провалиться балка под ногами, ухну вниз, в огонь. Так и не решился. Пожар этот долго тушили, несколько часов, а если бы прошел — за час бы спрявились... Вспоминаю этот пожар почему? — иногда история человечества напоминает его. Если кто-то пройдет по перекрытию, достанет очаг, потушит, он выручит всех. Но как пройти, если тлеют под ногами балки, если можешь ухнуть в костер — и ради чего? Всё равно ведь потушат, только неизвестно, когда и сколько успеет сгореть. Но ведь тебя-то может не стать — и трудно решиться... Это в моих глазах стало символом выбора судьбы, который стоит перед человеком».

14. РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕПРОЧИТАННОМ ЖУРНАЛЕ

О «Вече» напишу относительно коротко. Я обещал Владимиру Николаевичу, что, выйдя на «волю», достану комплект, прочитаю и сделаю для него критический анализ прочитанного. Так и сделаю в будущем. Пока же могу скользить только по внешним фактам его истории, известной из рассказов Осипова, и давать оценки исключительно по интуиции. Честно предупреждаю читателя о недостатках того, что он узнает ниже.

Как я понял, «русская партия», органом которой являлось «Вече», возникла из стихийного объединения

нескольких оппозиционных кругов, интересы которых не совпадали иногда даже в самых принципиальных вопросах. По правде сказать, сходство между этими направлениями общественной мысли кажется мне куда меньшим, чем, скажем, между большевиками и меньшевиками, тоже состоявшими в одной партии (и чем это кончилось — все хорошо помнят).

Внешним толчком к созданию общего журнала столь несхожих общественных направлений стал разгон властями русофильской редакции журнала «Молодая гвардия» (кажется, в 1970 г.).

— Люди, которые идеально поддерживали «Молодую гвардию», — рассказывал мне Осипов, — были смертельно оскорблены разгоном ее редакции. Многие из них занимали важные кресла и кабинеты и считали, что, являясь «русскими патриотами», являются первыми защитниками советской власти. И вдруг она дала им такой пинок под задницу! Они-то и дали мне первые средства на издание журнала и первые литературные связи.

Так в партию, созданную «славянофилом», вошли и заняли ключевые позиции «государственники».

Конечно, он бы и без них все равно создал свой журнал. Но когда? Как? А тут власть обеспечила с самого начала мощных союзников и партнеров по «делу».

Он так рассказывал про «начало».

— Я сильно боялся, когда на обложке нелегального журнала открыто ставил свое имя, фамилию, адрес. Совсем недавно отсидел семь лет — и снова в зону идти? Но подумал, что, если меня арестуют, останется в истории след: не молчали в России, когда разогнали, когда заткнули рот патриотической редакции «Молодой гвардии». Дело русских патриотов не умерло даже в советские дни, и это должны узнать наши потомки.

Но его не арестовали.

КГБ поставил его под свой контроль и пытался использовать в своих интересах.

Техника маневра Комитета оказалась такой.

Когда Осипов появлялся в Москве, следом за ним сразу шел «хвост». «Объект» отрывался от слежки, но его находили снова и снова. Возникал милицейский патруль: «Проверка документов»... «Вам запрещено жить в Москве». — «Но я здесь не живу». — «Немедленно покиньте город» — и его волокли в участок. Так повторялось несколько раз, и в таких условиях выпускать журнал, опиравшийся, прежде всего, на московские силы и средства, было бы невозможно, если бы...

Если бы не существовало в Москве уголка, где, словно по мановению волшебной палочки, слежка его отпускала. Только бы добраться до квартиры Светланы Мельниковой, бывшей активистки с площади Маяковского, бывшей подруги Эдуарда Кузнецова, — и Осипов оказывался в точке спокойствия — в «глазу циклона». Тогда он писал на листке бумаги поручение к тому или другому литератору или активисту, подписывал: «Осипов, редактор «Вече» — и посыпал с поручением куда угодно безотказную, послушную, работящую Светлану. По словам Владимира Николаевича, она исполняла любое дело «с удовольствием хорошей актрисы».

Светлана выражала в редакции точку зрения тех кругов, которых Осипов полуиронически называет «мои шовинисты» (демократ Сергей Солдатов обозначил их «национал-большевиками»). Но не ей, конечно, доверено было стать их вожаком. Идейным выразителем интересов этой фракции стал член редколлегии Иванов-«Скуратов», старый товарищ Осипова, продавший его некогда в КГБ.

Круг осиповских «шовинистов» — это, по-своему, интересное общественное явление, а само появление его — свидетельство идеологического кризиса КПСС.

«Шовинисты» часто занимают (или мечтают занять) места в официальной иерархии, иногда они сидят даже в значительных кабинетах по «идеологической части» (им, например, удалось свалить антагониста, заведующего отделом пропаганды ЦК Яковлева, отправив его послом в заокеанскую Канаду). Но в наше время занимать место в иерархии — означает существовать в омерзительном мире нелепой и циничной бездуховности. Поясню эту отвлеченную мысль таким личным примером.

...29 апреля 1974 года на допросе у начальника следственного отдела ЛенУКГБ полковника Баркова я объяснял хитроумнейшему Леонид-Иванычу, почему ну-никак не могу быть советским человеком.

— ...если бы ваши единомышленники, гражданин полковник, лгали, но хотя бы так, чтоб им можно было поверить! Во времена Сталина они были логичными: приняв их отправную точку зрения, я мог не беспокоиться об остальном. Одно неизбежно вытекало из другого. Как бы пояснее вам рассказать... — тут мои глаза остановились на свежем номере «Ленинградской правды», лежавшей на столе гражданина начальника: — Вот рубрика — «Новые книги». Сообщаете о выходе двух брошюр, одна — «Ленин — гениальный организатор КПСС», вторая — «Троцкизм — злейший враг ленинизма». Вам понятно, что если в одной говорится правда, то во второй обязательно — ложь?

Он отрицательно мотнул головой.

— Если Ленин — гениальный организатор партии, то именно он сделал Троцкого членом Политбюро. И, значит, член Политбюро Троцкий не мог быть его злейшим врагом. А если тот все-таки — злейший враг, значит, Ленин вовсе не был гениальным организатором... При Сталине это очевидное противоречие снималось срединным тезисом: Троцкий являлся гениальным шпионом и провокатором, причем двух или трех разведок сразу. Но великий шпион должен носить

непроницаемую маску. Вот почему агент «Интеллидженс сервис» и абвера Лев Троцкий сумел прорваться в доверие даже к гениальному организатору Ленину — он являлся по гениальности равновеликим Ленину лицемером и предателем. Примите допущение, что Троцкий — шпион, и, если очень нужно и хочется, всему остальному поверить можно. Но если нет шпионажа, то нельзя же поверить ничему остальному! Логическая цепь распадается... Даже при самом страшном желании нельзя поверить...

Барков напряженно слушал. Впоследствии, лучше узнав гебистов, я — уверен!! — понял, о чем он в тот момент думал: а не троцкист ли я?

На допросе, когда протокол печатался, следователь дал мне прочитать журнал «Политическое самообразование» со статьей «Зиновьев и Каменев — штрайкбрехеры Октября»...

— Вале-е-ерий Павлович, ты Михаил-Рувимовичу книжки даешь, — захохотал Барков. — Может, ДД-документы тоже?

Я не понял, что такое ДД-документы (уже в лагере догадался — «Документы Демократического Движения»), и продолжал:

— Представьте меня студентом в вузе и как я читал такую вот статью. Если Зиновьев и Каменев штрайкбрехеры — почему они и после Октября остались в Политбюро и в замах у Ленина? ... Я стал диссидентом только потому, что у меня хорошая память, я помнил всё, чему меня учили на лекциях по марксизму. И, уверяю вас, любой студент советского вуза, если на лекциях по марксизму он думает о предмете занятий, обязательно станет диссидентом.

— Мы ведь составляли документ о том, что нужно улучшить преподавание марксизма в вузах, — тихотихо напомнил мой следователь Карабанов: невероятно смирным пай-мальчиком сидел он в кабинете начальника.

— Да бросьте, Михаил Рувимович, об этом думать, — отмахнулся, как от комара, земной практический господин полковник. — Кто эти лекции слушает! Спят на них все нормальные люди...

Всё, что мог ответить гебист-полковник, когда он не на трибуне!

И люди, которые сталкиваются с официальной идеологией не так, как Барков, спорадически, на допросе, а ежечасно и по долгу службы, становятся либо равнодушными обывателями-чиновниками, либо цепкими циниками из коридоров власти, которых каждый побывавший хоть раз в этих коридорах хорошо знает.

Но те, кто покрепче духом, те ищут какую-то идеологию для «внутреннего потребления». Идеологию, которая способна заменить вакуум на месте «марксизма-ленинизма-пролетарского интернационализма» и в то же время не помешает добросовестно исполнять — для сладкого прожитья — советскую работу. Такой идеологией становятся некоторые разновидности «русского патриотизма».

Если «патриотизм» выстроить в такую систему, что центром ее станет идея национально-государственного могущества (а такой вариант вполне допустим в общих рамках идеологии), тогда — при желании — вместо Правды, Справедливости или даже Русского народа легко подставляется вроде бы равновеликий объект культа — Родина! Интересы Родины — опять же, повторяю, при желании — легко слить с интересами начальства Родины. (Ибо начальство искренно стремится Родину вооружить, расширить ее пределы и укрепить ее внешний престиж.) Предположим, какому-то чиновнику нужно по службе совершать такие подлости, которые неприемлемы даже для эластичной советской совести, — как в такой ситуации не спиваться? «Русский патриотизм» может пригодиться: всё сие надо делать для укрепления могущества и величия Ро-

дины. Очень недурной протез для духовного равновесия личности, бьющейся в идеологическом капкане.

... Я немного знал людей этого круга. Осипов, кстати, никогда при мне не ругал своих «шовинистов». По-моему, он исповедует принцип Сент-Экзюпери: «Я никогда не стану обвинять своих перед посторонними... Если они покроют меня позором, я затаю позор в своем сердце и промолчу... Муж не станет ходить из дома в дом и сообщать соседям, что его жена — потаскуха. Таким способом он не спасет своей чести... Позоря ее, себя он не облагородит. И только вернувшись домой, он вправе дать выход своему гневу». Но именно после бесед с ним мое мнение о былых знакомцах из круга «национал-большевиков» упало так низко, как никогда я даже предполагать не мог.

Во-первых, от Осипова я узнал, сколько они давали на «Вече» денег. Мне даже неловко публично называть эту ничтожную сумму.

... Я вспоминал их, наших общих знакомых. Один «видный» литератор, оказывается, обещал Осипову: вот напишу новый опус и внесу деньги на «общее дело». Наконец, кирпич толстенного документального романа выпущен в свет, гонорар получен, и общественный деятель скромно признается, что ничего на журнал не может дать: «Всё потратил на девочек». (Осипов без гнева, наоборот, с юмором заметил: «Но знакомые мне сказали: на девочек-то он тратил, да не всё; главное лежит на книжке».) Я посчитал: половины гонорара от этого тома хватило бы на издание всех номеров «Вече» — со старта до финала! Другой литератор-«идеолог», любитель шашлыков, коньяков и футбола, щедро выдавал на каждый номер «Вече» по 30 рэ, и Осипов был от души благодарен ему за доброхотное даяние. Мне известно, что без всякого риска для себя «идеолог» мог расходовать на журнал «партии» минимум вдесятеро больше — этот человек мне лично знаком по издательским делам... Осипов

расходовал на журнал всю свою зарплату пожарника, зато (не забывал добавлять) «пока я крутился по гостиницам и салонам, добывая материалы и средства, меня кормили — на еду в Москве я ничего не тратил... Бывало, мотаюсь несколько дней, добываю каких-нибудь рублей сорок, а мой ленинградский типограф Горячев телеграфирует: «Подам на Вас в суд за неуплату». Добуду деньги, переведу ему — сообщает: «Шеф, я в Вашем распоряжении».

Повторяю, Осипов не ругал своих «благотворителей» — это я за него удивляюсь и негодую! Он же относился к ним, как отец к неудачливым детям: да, конечно, не вышли ни духом, ни лицом, но все-таки свои, дети, других Бог не дал, — с терпением на зло, с благодарностью за малейшее добро.

Помню, рассказывал о своих отношениях с художником Ильей Глазуновым — эту фамилию называю только потому, что Осипов открыто прославлял его в «Вече». Говорить даже терпимо о Глазунове в политлагере — немыслимо трудно. Недавно в «Огоньке» появилось его новое полотно — портрет Брежнева. Наш генсек изображен красавцем во цвете партийных лет, с висками, тронутыми благородной сединой, этаким мудрецом-патриархом на фоне Кремлевских соборов, отцом-воеводой православного народа... Но Глазунов помогал «Вече» — помогал щедрее, чем другие сановные «шовинисты». Хоть небольшое, а всё же природное у него дарование; хоть ущербная, ущемленная, но всё же художественная натура... И Осипов, не в силах спорить, просто сказал: «Ко мне Глазунов был хорош. Не могу и не буду говорить о нем дурно».

...Понимаю, что жизнь сложнее, что у некоторых из этих людей «русский патриотизм» — не только приспособительная реакция на противоречия советской действительности, но где-то искреннее желание иметь в душе что-то святое. Все-таки и они, хоть советские,

а все же люди, хочется для самоуважения не только казенной икры и казенного коньяка.

Второй круг, на который опиралось «Вече», — это славянофилы, не приспособленцы и даже не протестанты, а просто нормальные националисты, какие есть в любом народе — среди украинцев и поляков, французов и евреев... Они болезненно переживают потерю «корней» или «почвы», уствоев национальной жизни, разрыв — да что разрыв, гибель старинных славянских связей, порчу языка, истребление национальной старины. Люди этого круга, насколько я их знаю, — честные, прекрасно образованные, часто необыкновенно, широко талантливые люди Духа. Они кто угодно — только не национал-обыватели.

(В скобках замечу, что именно с ними я спорил до потери голоса: не с «шовинистами» же спорить, эти — истины не ищут!

Я всегда утверждал, что национализм русских не может быть таким же, как национализм украинцев, прибалтов, негров или арабов.

Национализм — *первичное* чувство политического сознания любого народа, и русские еще в XVIII веке боролись при дворе с «немецкой партией». Но с тех пор прошло много лет, и к русскому сознанию я склонен предъявить требования покрупнее и поответственнее, чем к познанию народов, только выходящих на тропу независимого существования. Например, я признаю право угнетенного народа на комплекс неполнценности и связанные с этим национальное выпендривание и самовосхваление. Конечно, они все равно выглядят забавно — что обманывать! — когда хвалят своей древностью, мудростью и на 3/4 придуманной историей, но извинить их можно и нужно: это возрастное заболевание, какое часто наблюдается у юношей и девушек в возрасте созревания. Но русские на это прав не получили — в моих глазах, во всяком случае. Народ Пушкина и Толстого, Достоевского и Солженицына,

В. Соловьева и Сахарова, — имеет *обязанностью* — трезвую и серьезную самооценку и самопознание. К сожалению, слишком часто в их национальных кругах возникает детски-глупое, а иногда преступное по отношению к собственному народу створение «кумира из грехов своей родины».)

Почему честные люди «славянофильского направления» и безусловно высокоморальный человек, стоявший во главе редакции, — почему они не сумели отдельить себя от национал-обывателей, в конечном итоге, от предателей собственного дела? Почему они были и остаются снисходительными к аморализму уже известных предателей?

Я много думал над этим. Мне кажется, что сама идеология «русской партии» в ее нынешней неоформленности и противоречивости позволяет и даже как будто узаконивает присутствие в ее рядах обывателей и прихвостней (я вовсе не хочу сказать, что другие партии этого отребья лишены, просто не о том речь в этом месте, да и причины у других — другие). И главное противоречие «русской идеологии», которое лишает ее цельности и внутренней силы, еще в начале века сформулировал министр Александра III и Николая II Сергей Витте:

«Вся ошибка нашей многодесятилетней политики — это, что мы до сих пор не осознали, что со времен Петра Великого и Екатерины Великой нет России, а есть Российская империя. Когда около 35% населения инородцев, а русские разделяются на великороссов, малороссов и белоруссов, то невозможно в XIX или XX вв. вести политику, игнорируя этот капитальной важности факт, игнорируя национальные свойства других народов, вошедших в Российскую империю — их религию, их язык и т. д.».

«Русские патриоты» с их приверженностью к государственной традиции — великокняжеской, монархической, «белой» (это все равно) — неизбежно прихо-

дят к идее Единой и Неделимой России. Но это не Россия, это, повторю вслед за Витте, — Российская империя. Это государство, где русские как этническая единица — в меньшинстве. И если они хотят сохранить с другими народами совместное государство, они вынуждаются логикой совместного существования поддаваться крови, обычаям и вере другого народа (как эти народы, в свою очередь, поддаются русским). Такой процесс в принципе возможен: именно так, в процессе длительного слияния народов возникли нынешние народы Западного полушария. Для укрепления и, проще говоря, для существования империи «от Берлина до Сахалина» русские *вынуждены* логикой жизни ассимилировать другие народы.

Но, ассимилируя других, русский народ неизбежно лишается собственной этнической физиономии, и неожиданно начинает создаваться на его месте иной народ — иная этническая общность.

Но что естественно для политики империальной власти, то же смертельно опасно для политики *национальной* партии. Опасность такую «вечевики» сознавали. «Мы писали: насколько татарин русифицируется, настолько русский отатаривается», — рассказывал Осипов.

Конечно, если сохранять традиции имперского мышления, можно силой подавлять пробудившиеся национальные меньшинства (а кто не «пробудился» в век всеобщего национализма?), растрачивая на это подавление материальные и духовные ресурсы национального большинства и неизбежно отставая в развитии от народов, не обремененных «бременем белого человека»...

Можно решать проблему сосуществования разных народов в многонациональном государстве и не насищенно, а политически, т. е. ассимилируя этнические единицы в единую нацию...

Третьего — в пределах идеологии Единой и Неделимой — не дано.

(Времена, когда народ считал себя связанным не со своим национальным центром, а с той или иной династией, часто иноземной, — прошли безвозвратно).

Но оба возможных пути: и физическое подавление, и ассимиляция — подрывают силу русских именно как русских, как народа с его особенной этнической физиономией. (Хотя они же увеличивают силу государства, в котором русские — основной народ.)

Вопрос этот отнюдь не простой, и решение его для такого народа, как русский, неразрешимо сложно. Главным национальным даром, талантом русских является именно талант *государственного строительства*.

Посмотрите, как спокойно, а чаще с гордостью и любовью переваривали они иноземку на престоле, если она — талантливый строитель Российской империи. Обратите внимание, как они гордятся иноземными и инонациональными министрами и генералами — не меньше, чем своими, — если те удачливо строили громадную империю: негром Ганнибалом, немцем Минихом, греком Канкриным, армянином Багратионом, шотландцем Брюсом или даже евреем Шафировым.

К 1977 г. это государство достигло высочайшей в истории точки внешнего могущества: господствует на Кубе и в Анголе, его офицеры контролируют армии Ханоя и Адена, а базы флота спрятаны в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах... И «русский патриотизм», привязанный к государственному величию, не может всерьез, сколько бы он от него ни отрекался, отличаться от патриотизма советского!

Ибо с точки зрения укрепления и расширения Единой и Неделимой Империи именно советское государство ведет единственно правильную и, более того, единственно возможную политику, пользуясь обоими

способами: оно подавляет, насколько возможно, признаки самостоятельности у вассалов и одновременно содействует, тоже, елико возможно, созданию новой исторической общности — советского народа! Ничего лучшего для бытия Единой и Неделимой России никто, ни один русский патриот, если бы ему пришлось выступать как практическому деятелю, не придумает. Цитируя «Вече», выбор таков: либо русифицировать татар и оттариться самим, либо, если желания оттариться нет, — нужно отпустить на свободу всех татар и 99 других народов, а русским зажить своей, русской национальной жизнью. Коммунисты правы, когда осознают, что третьего — в рамках великого государства — не дано. А «русские патриоты»?

Им очень сложно спорить с советским государством; и неслучайно Файнер-Зайцев жаловался на отсутствие боевитости в «Вече»; и неслучайно Сергей Солдатов заметил мне: «Читал я „Вече“. Это не политический, а культурный журнал»; а в другой раз он же ехидно заметил: «А ведь в одном очерке Володя писал, что в тюрьме переоценил свое отношение к Сталину и впервые понял, как много сделал Сталин для возрождения православия и русского самосознания после стольких лет господства троцкизма. Да, было это, из журнала не вычеркнешь». (По-моему, Сергей несколько ревновал меня к Владимиру: партийная ревность существует и на зоне.)

Кстати уж, к слову; меня эта реплика Сергея еще больше расположила к Осипову. Я ведь не политик, которому важнее всего платформы и программы, меня человек интересует. А в Осипове несомненно имеется эта русская, толстовская черта: если принятая на веру идея требует обрубить себе ноги — что ж, вздохнем и обрубим, но не усомнимся в истине. (Признавал же Лев Толстой, что если искусство должно быть народным и должно уходить корнями в толщу народных масс, то — ничего не поделаешь, Бетховен никуда не

годен, да и сам он, Толстой, остается в истории литературы разве что сказкой «Три медведя», — в отличие от Ленина и Клары Цеткин, которые тезис провозглашали, а вот последствий его принимать не желали вовсе.)

Осипов не мог не признать: если Единая, Неделимая, Могучая Россия есть благо, тогда Сталина следует признать великим русским государственным деятелем. Или — или... Чего ж тут от правды бегать!

Нет, не из одних тактических соображений Осипов утверждал на суде, что его журнал был «политически лояльным»; и не по либерализму власти разрешали несколько лет выходить журналу — пусть незарегистрированному, но открытому, с обозначением на обложке фамилии редактора и адреса редакции. «Удивительно, — признавался Осипов, — если б они не посадили ко мне в редакцию провокатора, пожалуй, дело бы кончилось на первом номере». Но КГБ надеялся, что, умело и осторожно играя на империальной стороне сознания «патриотов», ему удастся повести «русскую партию» на своем поводке.

Почему этот замысел не удался?

Объективно — потому, что, кроме русского государства, существует еще русский народ, заплативший за ленинско-сталинскую политику десятками миллионов жертв; существует церковь, которая по-своему оценивает, что сделал для нее Stalin, — правда, это не церковь патриархов Алексия и Пимена... И честный русский патриот, споткнувшись на меже между народом и государством, между национальным существованием и имперскими амбициями, начинает метаться в силках своей идеологии. Наконец, самые честные из них, признав право своего народа на национальное существование, не находят в себе духу отказать в этом праве и другим народам империи — и в то же время не находят сил, не смеют прийти к решительным выводам из основного постулата своей теории... В зави-

симости от преобладания «народа» или «государства» в основе мировоззрения, русские патриоты располагаются в партии целым веером фракций.

Фракция «шовинистов» (я предпоючию называть ее «государственниками»), оказавшись, с одной стороны, на государственной службе, с другой — под угрозой преследований, не может не идти на определенный компромисс с властями. Но кто когда-либо шел на компромисс с администрацией, тот знает, что та никогда не удовлетворяется достигнутым соглашением. Любое соглашение — лишь прелюдия к капитуляции партнера. (Как ни удивительно, только тот, кто категорически не идет ни на какие компромиссы, их получает — причем безо всякого желания. Отсюда известный афоризм Солженицына: «Не бойся, не надейся, не проси».)

Опасность компромисса для «государственников» таится в том моральном, вернее, аморальном влиянии, которое на них неизбежно оказывает родное начальство — старший партнер в коалиции. Лгать, обманывать, предавать — это основа советской морали, кредо которой выдал одному зэку его следователь-гебист: «В борьбе с врагами допустимы любые средства, в том числе обман: так учит нас партия». (Излишне напоминать, что врагом может стать ближайший друг: кстати, ближайший друг — первый из завтраших врагов...) И «государственники» волей-неволей уподобляются коммунистам: «тому в истории мы тьму примеров слышим»...

Зато честные и глубоко порядочные борцы из партии «патриотов», как бы они ни загоняли себя в рамки «лояльности», повинуясь догмам национальной теории, неизменно разбиваются о скалу противоречий, когда перед ними встают вопросы не мирового масштаба, а самые простые, житейские — вопросы личной чести, верности друзьям и единомышленникам, совести перед поруганным народом и его мучениками.

Все эти длинные и не очень, кажется, вразумительные рассуждения занимали меня по самым практическим поводам — в часы, когда, слушая Владимира Осипова, я пытался по его рассказам понять: почему погибло «Вече», почему арестовали его редактора, почему его предали и продали в КГБ его ближайшие соратники и сотрудники.

15. «С КЕМ ВЫ, ВЛАДИМИР ОСИПОВ?..»

По словам Владимира Николаевича, в первые годы новорожденный журнал травился довольно свирепо.

Стартовый удар нанесло ГБ по человеку, стоявшему в стороне от редакционной работы и связанному с «Вече» лишь в силу большой личной дружбы с его редактором, — по Адели Найденович.

Православная христианка, она в то же время была близка к самому влиятельному кругу тогдашней диссидентской Москвы — к кругу Петра Якира. Первоначально Якир принял осиповское издание в штыки. Однако он скоро убедился, что Осипов — деятель, понимающий, что поет партию в общем хоре оппозиции (а хор требует единства от поющих, даже ценой ослабления яркости и самобытности голосов поющих). После первого взрывчатого конфликта «Хроника текущих событий», главный орган советской оппозиции, дала вполне благожелательный анонс о появлении нового журнала. В мирном развитии отношений между «Хроникой» и «Вече» важную роль сыграла Адель Найденович. Возобновились угрозы, достаточно веско звучавшие для женщины, отбывшей несколько лет в концлагере, но куда более ужасно поражавшие сердце ее старой матери. После очередной проработки: «Посадим вашу dochь, снова посадим!» — мать Адели скоропостижно умерла. Осипов называет ее первой

жертвой «Вече». «Я сам заколотил ее гроб и первым выносил его», — рассказывает, и чувствуется, что придает этой смерти какое-то мистическое значение.

Потом на железной дороге в Сибири таинственно погиб (был зарезан) курьер «Вече» из бывших зэков, молодой парень Анохин...

Но постепенно все как-то наладилось.

Спокойствие (относительное, конечно) наступило после того, как Осипов под воздействием Светланы Мельниковой рассорился с Аделью. «Мне уже начало казаться, что я неуязвим», — признался он как-то в минуту откровенности. И все-таки за ним явилось ГБ.

Почему?

...Об этом думают и на воле. Недавно в зону пришли слухи: бывший коллега Осипова по «Вече» Иванов-«Скуратов»* распустил слухи, что якобы Осипова посадили вовсе не за «Вече», а за некую его личную антисоветскую деятельность. Осипов ужасно кипятился по этому поводу, потрясая обвинительным заключением: две трети эпизодов в нем прямо связано с журналом (причем некоторые инкриминируемые Осипову материалы из числа анонимных, как признался мне редактор в гневе, принадлежат именно «Скуратову»). Но я вынужден здесь сознаться: мне тоже кажется, что фактическая правда в предположениях Иванова-«Скуратова» есть. Не только и не столько в «Вече» заключена причина ареста Осипова.

Примерно за год до появления гебистов в пожарке Иванов-«Скуратов» написал «Открытое письмо Владимиру Осипову» (так, впрочем, кажется, и не вышедшее за пределы редколлегии «Вече»). С кем Вы, Владимир Осипов, с нашим, русским государством или с

* Любопытно, что псевдонимом Иванов избрал кличу палача, который не только проклят народными русскими песнями, но известен в истории как палач очага русской вольности — Новгорода и убийца русского национального святого — митрополита Колычева.

его врагами? Время выбирать, время определиться, Владимир Осипов! Сильно изменился Иванов-«Скуратов» после второй отсидки в дурдоме. Отчаянный нищешанец и террорист превратился в умудренного «государственника», в идеолога и «перо национал-большевизма».

— Он постоянно через мои связи собирал информацию о перестановках в кремлевских кабинетах, — рассказывал Осипов с наивным смущением. — Усиливается влияние Суслова? Личные качества Кириленко? Кого назначат новым замзавом по пропаганде?

Естественно, когда человека всерьез волнуют личные качества Кириленко, его обязана раздражать личность Солженицына. Когда человек мечтает о возвышении, скажем, Полянского, его не устраивает бес tactное требование освободить Буковского или Григоренко. Это само собой понятно.

Иванову-«Скуратову», видимо, казалось, что Осипова посадили, например, за открытое письмо к Шону Макбрайду, тогдашнему председателю «Эмнести интернейшил», в котором редактор «Вече» просил «Эмнести» вмешаться в дело Игоря Огурцова, отправленного на психэкспертизу. Осипов опасался, что Огурцова переведут из лагеря в дурдом. Кстати, письмо это, действительно, инкриминировалось в суде — причем инкриминировалось не содержание (что ж тут антисоветского даже для советского суда — в призывах вступиться за человека, которого советская психэкспертиза все-таки признала здоровым), а именно адресат. Я сам читал формулировку: «Письмо к руководителю антисоветской организации Шону Макбрайду». Возможно, Иванова-«Скуратова» раздражало и

* Юмор ситуации, однако, в том, что пока Осипова держали в тюрьме, Шон Макбрайд получил в Москве Международную Ленинскую премию. Если бы экс-руководитель «Эмнести» опротестовал приговор Осипову хотя бы в этом пункте, можно было бы поднять вопрос о снижении срока Осипову: снятие эпизода влечет снижение срока даже в СССР.

«Открытое письмо» Осипова к председателю Комитета за освобождение политзаключенных США коммунистке Анджеле Дэвис (оно тоже упомянуто в «обвиниловке»). По словам Осипова, он просил ее «использовать Ваше влияние для освобождения людей одного с Вами, марксистского образа мыслей» — назывались Григоренко и еще кто-то из тогдашних «неоленинцев»). Действительно, что за дело «русскому патриоту» до Григоренко? С кем вы, Владимир Осипов, со своим родным советским государством, которое, правда, чуточку вас недопонимает, или с его врагами? Да, Иванов-«Скуратов» мог «грешить» на эти письма Осипова как на подлинную причину ареста главного редактора — это для него естественно. Но думается, что айсберг, о который раскололся корабль «Вече» и судьба Владимира Осипова, назывался иначе. Он назывался именем величайшего писателя и гражданина России в XX веке:

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН.

16. МАСОНЫ, МАСОНЫ, КРУГОМ ОДНИ МАСОНЫ...

Осипов встречался с Солженицыным дважды.

Первый раз просил о сотрудничестве в «Вече». Писатель отказал: «Физиономия и уровень журнала еще не определились».

Не знаю, какое впечатление произвел Осипов на Солженицина, но Александр Исаевич поразил редактора. «Первый раз в жизни ощущал я физически незаурядность человека. Он целиком захвачен тем внутренним процессом, который в нем совершается. Прямо чувствуешь мысль, которая непрерывно движется в великом человеке — а ты его отрываешь от нее разговором».

Несмотря на неудачу переговоров о сотрудничестве, Осипов, однако, решился оторвать его еще раз от

хода дел: пришел предупредить насчет масонской опасности.

Здесь мне опять придется отвлечься от рассказов Осипова и немного порассуждать на темы, которые меня занимают в лагере: на темы, связанные со спецификой национального сознания в современном обществе. В данном случае — русского сознания.

В Осипове, по-моему, сильно выражена русская национальная черта — представление о том, что Власть и Авторитет окутаны непроницаемой Тайной. Простое, доступное повседневному объяснению и нормальной логике поведение Власти неинтересно русскому сознанию. Не я первый это открыл, да я, пожалуй, сам до этого бы не додумался. Это Сергей Солдатов как-то с одобрением цитировал Бердяева о «женственности» славянского сознания — о его пластичности, уступчивости и при этом постоянной «самости» и автономности. Но именно женщины совмещают житейский реализм и приземленность с затаенной тягой к необычному, таинственному, даже страшному... Что-то есть истинное в этом рассуждении — и насчет женщин, и насчет славян.

В первой части «Места и времени» я уже писал про рабочего Петра Сартакова, в сознании которого Тайна Советской власти — это «жиды, которые лезут в Кремль под нашими фамилиями». Такую концепцию Осипов, человек не менее русский, чем Сартаков, принять не мог, — хотя бы в силу своей образованности. Ведь он-то знал, что события 1917 г. истоком имели конец XVIII и первую половину XIX века, когда евреями на общественной сцене России еще не попахивало. Но принципиально Осипов, конечно, исповедует ту же сартаковскую идею, что нежелательные перемены в традициях национальной Власти произошли от вмешательства посторонних, чужеземных сил. Только идея «оккупации России» позволяет ему надеяться на возврат в прошлое, к «корням» — после

избавления от «чужеземного ига». Справедливости ради добавлю, что это обычная, нормальная концепция любого национализма угнетенной нации: китайцев и негров, украинцев и литовцев, евреев и кубинцев. Но, конечно, в применении к русским, которые не только не покорены иноземной армией, но сами покорили двунадесять языков, такая идея потребовала специфического субъекта Зла. В концепциях русских патриотов таким Фантомом Зла стали масоны (рядом, конечно, с евреями).

Честно говоря, меня поражал этот романтический ужас перед Всемогущим Масонством. В сознании патриотов (я разговаривал с ними еще на воле) масоны стали ипостасью некоего темного Божества: они, кажется, могли все, они управляли миром, как Ростропович — виолончелью. Всюду маячила тень злокозненного Масона — по соседству с выстрелом Гаврилы Принципа и отречением Николая II и даже расколом «Левого фронта» во Франции в наши дни.

Это вера романтическая — спорить было бесмысленно. Все равно, что уверять поэта-романтика, мол, муз не существует...

Но за этой романтикой скрываются и вполне земные и очень удобные для масонофобов интересы.

«Государственникам» из партии русских патриотов масоны необходимы в качестве объекта безопасного приложения их полемических усилий... Кто сокрушил веру православную? Кто сорвал корону с династии Романовых? Кто развратил народное сознание? Масоны.

Не улыбайтесь, это очень удобная, очень выгодная идеологическая позиция. Она дает право и возможность не бороться с коммунистами, которые в открытую, без всякой таинственности, честно и прямо оскорбляют православие и унижают церковь, обливают грязью дореволюционную Россию с ее императорами, а русских преобразуют в новую историческую общ-

ность — советский народ. Ведь связываться с коммунистами так опасно — могут быть неприятности на денежной коммунистической работе (я уже не говорю про такие ужасы, как вполне возможные тюрьма и концлагерь). И зачем вспоминать о далеких коммунистах, когда совсем рядом в качестве первопричины действуют злоказненные масоны... Патриоты-государственники напоминают мне мужественных европейских борцов с ядерным и нейтронным оружием, которые смело атакуют базы НАТО, но что-то не слышно о появлении этих «борцов за мир» в Семипалатинске или Тибете...

Занесло-таки меня в иронию. Но, когда вспоминаю знакомые претенциозные лики, горделивые осанки и, в сущности, хорохорящуюся трусость под «национальным покровом», трудно удержаться от усмешки.

Конечно, Осипов к таким людям не относился. Но романтической масонофобией заражен и он. Ему масоны необходимы как логичная причина зла, таинственного и всепроникающего, которое сбило православный народ с устоев и довело до цареубийства и большевизма. Кроме того, я уже упоминал, что по натуре ему свойственно быть вторым — организатором, управителем, вожаком, но рядом с первым — идеологом-литератором. А первый, Иванов-«Скуратов», сражался с масонами мужественно и последовательно, в каких бы уголках истории они ни затаились (по-моему, масонами считались даже Рыцари Храма Господня, Тамплиеры средних веков, но, конечно, переименованные в Рыцарей Храма Соломонова).

И вот, когда в жизни великого писателя России Александра Солженицына наступила личная драма — разрыв с первой женой, Натальей Решетовской, а потом пришла новая любовь, к Наталье Светловой, то эту глубоко личную перемену в судьбе писателя подготовили кто? — конечно, масонские происки и интриги.

...Отношение «русской партии» к Солженицыну эволюционировало на моих глазах. Пока он только писал запрещенные цензурой романы и рассказы (до открытого письма съезду писателей), т. е. пока он был только *безвинной жертвой* режима, все фракции его поднимали и восхваляли; он стал своеобразным национальным фетишем. В то время духовная, секретная солидарность с Солженицыным практически не грозила никакими реальными опасностями: власти не преследовали писателя, а только «глушили» его.

После открытого письма съезду писателей Солженицын стал активной политической фигурой, бойцом, а не жертвой. Общение с ним, тем более — поддержка, приобретали теперь вид политической демонстрации. В «русских кругах» началась воркотня (слышал своими ушами): «Большой писатель — ну, и писал бы романы, а зачем ему вмешиваться в политику». Кстати, романов не печатали, но «шовинистов» это лично «не колыхало», а вот политическая борьба Солженицына за публикацию ставила «патриотов» в сложное положение. Требовалось выбирать между писателем, совестью русского народа, и всё более обозленным начальством этого же народа, воспринимавшим Солженицына как неожиданно вылезший гвоздь в мягком государственном кресле. Нетрудно понять, какой выбор сделали «государственники».

Но все-таки «и в подлости им хотелось сохранить» идеологическую осанку. Предавая национальную честь своего народа, хотелось все-таки в своих глазах, а если возможно, в глазах окружающих выглядеть не нормальными чиновничими прохвостами, а Деятелями, отрекшимися от национального гения во имя более высоких, чем он, предметов: моски Родины, славы и авторитета Родины и т. д.

И здесь им очень на руку оказался новый брак Солженицына: насколько я понял, Наталья Светлова была арийкой отнюдь не чистокровной. Всё уклады-

валось в схему: Солженицын бросил нашу, русскую женщины, потому что евреи или масоны — не так уж важно, кто — устроили ему новый брак, чтобы использовать его талант в своих интересах.

Понимаю, что все это в глазах здравомыслящего читателя выглядит фантастическим бредом, но я вряд ли ошибаюсь в своих оценках. Например, Солдатов пересказал мне свою беседу с видным московским «патриотом» (носившим немецкую — или еврейскую? — фамилию. Я не называю ее только потому, что не успел спросить у Сергея разрешения на публикацию их разговора):

«После второго брака Солженицына он перестал быть русским писателем. Он церкви уже изменил, смеет критиковать»... Передаю разговор, разумеется, в изложении; но за точность смысла ручаюсь.

Осипов, человек прямой и доверчивый к своим, явно не понимал игры, которая велась «государственниками» против Солженицына с целью «благородно» от него отмежеваться. С тревогой видя раскол между писателем и идеологами собственной партии, он попытался его предотвратить: вторично явился к Александру Исаевичу с поучением о вездесущих масонах, которые не могут оставить без внимания человека, ставшего мирового значения величиной. Будьте бдительны, Александр Исаевич!!! Солженицын ответил, что в масонах не видит реальной опасности и считает беспокойство Осипова и его друзей преувеличенным.

Признаюсь, мне было дико слышать из уст Владимира, что любовью, пусть даже общественного деятеля, можно заниматься как социальным мероприятием. Но «круги» (и Осипов в их сонме) полагали иначе:

Когда развод совершился, «Вече» во главе с Осиповым примкнуло к «партии Решетовской» (как своей чистокровной землячки). Решетовская, в свою очередь, помогала «Вече» и, кажется, писала что-то для жур-

нала. Как сказал бы соответствующий персонаж Владимира Марамзина: «Мы потеряли Салажонкина, зато Решетовская теперь наша. По-моему, приобретение небольшое».

Двойственность (не двуличие! именно двойственность) позиции Осипова, отражавшая двойственность состава «партии патриотов», отразилась в том, что, симпатизируя Решетовской по-человечески и поддерживая ее в качестве общественного деятеля, Владимир Николаевич вполне понимал поведение Солженицына и в душе его одобрял. Во всяком случае, когда я пристал с ножом к горлу, «почему все-таки Солженицын ушел от Решетовской», Осипов нехотя ответил: «Да ему в деле нужна жена-помощник, жена-боец, а Решетовская чудесный человек, но ей хотелось стать московской писательской дамой». Не знаю, так ли это было на самом деле, — суждение характеризует не ситуацию, а Осипова.

...К слову, я, конечно, несколько упрощаю конфликт между Солженицыным и «государственниками», когда свожу его причину лишь к трусости «патриотов», испуганных бескомпромиссным мужеством писателя. В основе этого конфликта лежали не только и не столько моральные, сколько идеиные расхождения.

Позиция «государственников», объясняющая все отрицательные стороны русской истории и национальной психологии чужеземным внешним влиянием, — позиция в истоках своих глубоко антируссская. Её исходным пунктом является молчаливое признание, что русский народ — это дурачок, которым любой ловкий иноземец или авантюрист (безразлично кто — еврей, масон, большевик) может играть, как фигуру на шахматной доске. В глубинах этого мировоззрения скрыто такое неосознанное неуважение к своему народу, какого закоренелый славянофоб не посмеет высказать.

Солженицын — патриот, который не только любит свой народ (кто же своих не любит? Вон даже лагерный прохвост капитан Зиненко, который первыми в очереди травит ээков-украинцев, в тайниках души симпатизирует землякам и потому отвратителен вдвойне)... Солженицын русских уважает. За размах в самоотверженности, за безрассудную самоотдачу, за мощь Духа — даже во грехах. И за многое другое... Потому, анализируя в совокупности историю и характер своего народа, он пытается *изнутри* понять русскую трагедию XX века, а не считать ее случайной болезнью.

Мне не удалось прочитать на воле «Август четырнадцатого». Но, по отзывам советской печати, это начало художественной эпопеи, в которой прослеживается созревание русской революции в недрах России и осознается, что же в *действительности* произошло между народом и государством в 1917 г.

Не удивляюсь поэтому, что «Вече» поместило резкую статью против солженицынского художественно-исследования: ее написал идеолог № 1 и лидер «государственников» Иванов-«Скуратов». Осипов не рассказывал мне ее содержания, только мельком обмолвился, что Солженицына обвиняли в антипатриотизме. Интересно, совпадала ли его аргументация с аргументацией внештатного гебиста Н. Яковлева в «Литературной газете»? Обвинение в «антипатриотизме», во всяком случае, оказалось одинаковым — в нелегальном «Вече» и полугебистской «ЛГе». «Патриот» — «государственник» закономерно пришел — и не мог не прийти! — к тем же идеям насчет творчества Солженицына, что и андроповский мегафон.

16. ХОТИМ НЕФТЕДОЛЛАРОВ!

Разрыв «Вече» с Якиром и демократами...

Разрыв «Вече» с Солженицыным...

Это не могло не вдохновить куратора из ГБ на новые подвиги.

Требовалось закрепить результаты работы с «Вече» и «патриотами» после появления разгромной статьи Иванова-«Скуратова» (на «Август четырнадцатого»). Вполне допустимо, что именно поэтому Мельникова и Скуратов предложили в очередном номере поместить статью в поддержку палестинского Фронта Освобождения.

Содержание номера обсуждалось редакцией в дни, когда после своего выступления в защиту Сахарова Солженицын подвергался идиотской до психобредомании травле в советской печати.

Услыхав в первый раз про идею палестинской статьи (ее брался написать, кажется, сам Иванов-«Скуратов»), Осипов, по его словам, изумился. Да, конечно, палестинцы в изгнании, вполне допускаю, что они заслуживают сочувствия, — но мы-то тут причем? Мы — журнал, посвященный не международным, а внутренним, российско-культурным темам? Разве у нас нет своих, русских проблем — зачем заниматься делами Ближнего Востока? Да еще в то время, когда идет всероссийская травля нашего великого национального писателя!

Тут и разгорелась ожесточенная свара.

На вопросы Осипова, по-моему, очень практично и делово ответила Мельникова. По ее словам, если арабы узнают, что «Вече» поддерживает палестинское дело, Муаммар Каддафи отпустит денег на издание «Вече». Иванов-«Скуратов» не снисходил до такой прозы, он орудовал в высоких идейных сферах. Мы, «Вече», должны показать всем, что мы не только на

словах борцы против сатанизма и сионизма. В том политический смысл этой публикации.

Кстати, я вовсе не уверен, что идея такой статьи зародилась обязательно в мозгу куратора. У «государственников» могли существовать свои, личные расчеты в проведении подобной политической линии. Ведь на том заседании Осипов настаивал, чтобы «Вече» напечатало неопубликованную ранее автором главу из «В круге первом» А. Солженицына и этой публикацией оказалось моральную поддержку писателю. Возможно, противники редактора хотели статьей о палестинцах просто уравновесить солженицынскую главу и продемонстрировать начальству лояльность (или, как говорят в газетах, «единство взглядов») хотя бы в отношении к Израилю и евреям вообще — и тем как бы «подстелить соломки» в накаленной идеологической обстановке. Пожертвовав мелочью, да, в сущности, ничем не жертвуя, они могли надеяться спасти журнал от репрессий, неизбежных, по их предположениям, в момент «отмакивания» ГБ после смертельно-го солженицынского удара.

Повторяю, учитывая нравы «дипломатии», вполне допускаю, что статья о палестинцах задумывалась Скуратовым как маневр с целью защитить журнал от карающего меча ГБ. Но ведь ГБ могло наложить «опалу» и за «мусульманский крен»: кто это знает, как отреагирует старший партнер на желание подкормиться из ливийских рук! Поэтому для корректировки подготовили другую статью — о крымских татарах. В ней доказывалось, что разорение их черноморского гнезда стало заслуженной карой за многовековые разбойничьи налеты степняков на Московию и Украину... То есть мусульман, живущих в СССР, как бы морально изгонять с их родной земли — со ссылкой на историю; зато мусульман, живущих вне пределов СССР, но в районе его «государственных интересов», морально вернуть на земли их отцов — и опять со-

ссылкой на историю! Конечно, можно иронизировать над этой ловкостью, типичной для всякого советского приспособленца (приспособленцы существуют и в диссидентской среде), но, думается, куда полезнее понять, какая же путаница завязалась в мировоззрении «государственников»-«патриотов»... То, что логично, а потому, несмотря на аморальность, убедительно в действиях государства интернационалистского или партии коммунистов, не придающей принципиального (а только тактическое) значения национальному вопросу, тем паче «корням», «предкам», «крови», Родине, что логично и убедительно у партии, чья политика в национальном вопросе всецело определяется задачей расширения сюзеренитета Кремля, — то же самое выглядит нелепым противоречием в действиях и пропаганде партии «патриотов».

Осипов понимал это. Он насмерть уперся против обеих статей о мусульманах. Почему? Израилю он вовсе не симпатизировал, евреям — тем более. Но палестинцев, думается, не любил еще больше. Во-первых, они левые, а он — правый. Во-вторых, за то, что они террористы. Терроризм как крайнее проявление анархии вызывает у него почти физическое отвращение. Надо услышать, с какой радостью в голосе читал он в «Вопросах истории», что в рядах итальянских «правых» крепнет сопротивление экстремистско-террористическому крылу: «Вот это правильно. Как это может связываться — правые и террор? Я — правый. Я не могу себе представить, чтобы в какой бы ни было обстановке я одобрил террор». Палестинские акции террора в Мюнхене и ФьюМИЧИНО, в Вене и на севере Израиля вызывали у него инстинктивное омерзение. Вдобавок, лично он очень смелый человек, и нападение на безоружных — какими бы благими поводами это ни оправдывалось! — заставляло его подозревать террористов в самом страшном грехе — трусости. «Пусть у них цели хорошие, но зачем напа-

дать на лстей или паломников? Если они хотят освободить своих товарищей — пусть нападут на израильский генштаб!» — вот типичное для Осипова рассуждение, кстати, очень русское по стилю. Нет, деньги Каддафи не соблазняли редактора безгонорарного и бесфондового журнала — не деньгами изменились его политические принципы.

Но главное, конечно, заключалось в том, что публикация пропалестинской статьи в нелегальном журнале означала бы открытую демонстрацию солидарности с начальством. Иванов-«Скуратов» именно поэтому и хотел напечатать (даже написать) статью, а Осипов именно поэтому не хотел. «С кем Вы, Владимир Осипов?» Он не хотел быть вместе со своими тюремщиками ни в одном вопросе, даже в ближневосточном.

Публикация проправительственной статьи в «Вече» означала в его глазах переход «русской партии» в лагерь начальства, разрыв с оппозицией. «Я сказал тогда Бородину: если мы это напечатаем, я стану политическим трупом»... Бородин, член редакции, бывший политзэк из ВСХСОНовцев, с ним согласился. Голоса в редакции разделились: двое на двое. Голос редактора — против, значит, статья не прошла.

Рассказывая мне об этом голосовании, Осипов предполагал, что ГБ имело коварный умысел. Уже решив его арестовать, Комитет задумал скомпрометировать его журнал в глазах оппозиции и тем самым лишить редактора после изъятия в следственный изолятор любой международной и внутренней поддержки. Могло быть, конечно, и так, но мне не верится...

По-моему, КГБ — организация примитивная, ходы у нее попроще, действует она погрубее, понаглее и попроще.

Если, действительно, «палестинская акция» задумывалась в оперотделе (что теоретически вполне допустимо), то думается, это было последнее деловое

предложение Осипову: с кем вы, Владимир Осипов? Куда поведете свою партию? Когда он выбрал Солженицина, а не Арафата с Андроповым, Андропов дал «добро» на его арест.

17. РАСКОЛ И «ЗЕМЛЯ»

...Группа фактов в это время возбудила подозрение Осипова против Мельниковой. Он мне пересказывал их, и, по совести, я не могу сказать, что они сто процентно убедительны: каждый из них допускает иное толкование.

Например, Осипов рассказывал, как по предложению Мельниковой он решил передать фотопленку с копией очередного номера «Вече» журналисту, которым интересовалось ГБ и знакомство с которым могло Осипова серьезно скомпрометировать (впрочем, как и того человека — знакомство с редактором «Вече»). Когда выяснилось, что журналист не пришел в назначенный заранее пункт и перенес встречу, Мельникова вдруг стала звонить по телефону Аиде, бывшей Топешкиной-Осиповой, чтобы сообщить ей о новом месте, хотя знала, что телефон Аиды прослушивается в ГБ. «Человек этот был вскоре обыскан, но ничего у него не нашли, — рубит сплеча Владимир. — Звонок Аиде был прямо приглашением гебистов на место нашей встречи, да я оборвал его!» Но это ведь могло быть просто проявлением растерянности неконспиративной и несобранной женщины...

Напоминал Осипов, как она высматривала с помощью хитростей, обид и интриг его связи и контакты. Например, в Ленинграде он вступил в переговоры с бывшим активистом ВСХСОНа Конкиным, который согласился оказывать услуги «Вече» лишь при условии, что его фамилию никто из «вечевиков», кроме самого Осипова, не будет знать. Как же изумился

Осипов, прочитав на следствии показания Конкина: оказывается, во время вернисажа Ильи Глазунова прибывшая в Ленинград Мельникова посетила Конкина по делам «Вече». «Откуда она могла узнать про него? От меня она не получала его адреса», — спрашивал Осипов.

Вспомнил он и какую-то старушку, которая имела всепоглощающее хобби — коллекцию всевозможных материалов о Солженицыне. Она достала всё возможное в Союзе о жизни и творчестве Александра Исаевича и создала миниатюрный домашний музей. Однажды ей позвонил человек, голос которого она узнала: это был, по словам Осипова, близкий друг и «оруженосец» Мельниковой. Он пригласил ее на встречу с Владимиром Николаевичем к станции метро. Старушка отправилась, никого не застала и не дождалась, а когда вернулась домой, дверь была открыта (по-русски правильно сказать — вскрыта), квартира не ограблена — исчезли только материалы об Александре Исаевиче. «Не беспокойтесь о пропаже, мы тоже любим Александра Исаевича, и у нас эти материалы лучше сохранятся», — оставили ей записку неизвестные похитители...

Вспомнил он историю с тысячей рублей, которые передал на издание «Вече» один ученый, а он, Осипов, уже подозревая Мельникову в провокаторстве, пустил слух, что якобы деньги из заграничных источников, — и наблюдал со стороны, как она ведет следствие, пытаясь выследить канал получения денег. Вспоминал, какой травле она подвергала его жену, Валентину Машкову: тут мне были рассказаны препикантные подробности о Мельниковой, которые не буду повторять, — они касаются чужой личной жизни. Скажу лишь одно: покарала судьба Осипова за его вмешательство в семейную жизнь Солженицына, «подобное лечила подобным! Нерусская девичья фамилия его жены (Цехмистер — видимо, от «цейхмейстер», кто-

то из предков служил в артиллерию. Осипов сказал, что этнически она — чистокровная украинка. Да и вообще, что можно угадать по русским фамилиям о национальности владельца!) — так вот фамилия жены несомненно служила поводом для сплетен, мол, жидомасоны подобрались, вслед за Солженицыным, и к Осипову тоже, через новую Эсфири, так сказать. Немного зная патологическую любовь к сплетням в «патриотических салонах», особенно на тему, кто с какой еврейкой спит (этую любовь они заимствовали из салонов более высокопоставленных), представляю, как перемывались там косточки Осипову и его жене.

Но эти же факты могут быть истолкованы и по-иному: ну, например, Мельникова влюбилась в Осипова, и ее дикое поведение вызывалось страстью и ревностью — вот первый приходящий в голову примитивный вариант.

Осипов на одном из вечеров-сходняков «партии патриотов» открыто обвинил Мельникову в двойной игре и потребовал гласных объяснений некоторых ее поступков. «Знаешь, — рассказывал он, — когда я стал перечислять некоторые факты, требовать объяснений, она смотрела на меня так необычно, так странно. Будто читалось на лице: а ты, оказывается вовсе не такой дурак, как я думала».

— Кто любит меня — идем со мной, — сказал он, покидая ту вечеринку. Почти никто не ушел вслед за своим вожаком. Он был оставлен сторонниками, большинством авторов, даже некоторыми из лагерных друзей (о предательстве которых сокрушаются больше всего). Думаю, во всеобщем предательстве сыграла роль не подłość окружающих, а масонская легенда: масоны подобрались к Осипову через жену, как раньше они подобрались и соблазнили Солженицина*. Осипов — предатель «русского дела».

* Я своими ушами слышал разговоры некоторых «патриотов»



Сначала он пытался спасти единство редакции, передав редактирование товарищу и единомышленнику — Бородину. Но после того, как Бородин согласился, внезапно среди бела, как говорится, дня загорелся и через полчаса превратился в пепел деревенский дом Бородина со всем находившимся в нем имуществом. (Осипов по этому поводу припоминал пожар на квартире руководителя советского отделения «Эмнести Интернейшнл» Андрея Твердохлебова и некоторые другие таинственные пожары на квартирах у диссидентов — таинственные для него как для пожарника-профессионала.) Но, как ни судить о причине пожара, за полчаса превратился Бородин в бездомного пролетария и был выведен с поля общественной борьбы: не имея жилья и денег, нельзя редактировать журнал на общественных началах.

Тогда Осипов просто покинул «Вече» и начал подготовку к выпуску нового журнала — «Земля» (кажется, успел выйти первый номер). Он встречался в это трудное для него время с Андреем Амальриком, с Андреем Твердохлебовым: судя по некоторым намекам, «Земля» могла стать рупором славянофилов-«народников», идущих в русле Александра Солженицына. В соответствии с этим Осипов включился в полемику, которая тогда началась между Солженицыным и его «московским наместником Сахаровым» (именно так выразился рупор мирового коммунизма, журнал «Проблемы мира и социализма»: с удовольствием цитирую). Осипов, естественно, поддерживал Солженицына.

Сгруппировавшиеся вокруг Иванова-Скуратова и Мельниковой «вечевики» решили выпускать журнал

после изгнания Солженицына, мол, он умышленно спровоцировал кампанию властей против себя, а также свой арест, заранее расчитав, что это даст ему возможность «красиво дезертировать» из России, оставив других патриотов под игом произвола властей.

без Осипова. Они опубликовали «манихвест» с обвинением Осипова в «измене русскому делу» и вдобавок в самозванстве (мол, журнал выпускал все не он, а Мельникова, он же присваивал заслуги бедной Светы. Осипов с неподражаемой все-таки наивностью возмущался в зоне: «А почему тогда за «Вече» сижу я один!»). На его место главы редакции ввели... Иван-Григорьича Овчинникова. Впрочем, о редакторских талантах новой редакции судить невозможно: она выпустила только один номер (кажется, десятый), подготовленный при Осипове, — и на том прекратила существование. Правда, этот номер, как рассказывал Владимир Николаевич, был выпущен в двух вариантах: со статьей о справедливом сталинском возмездии для крымских татар в выпуске для «своих» и без оной статьи — для всей остальной, несознательной общественности.

19. «ВОСЕМЬ ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА»...

Иногда думаю: может быть, именно статьи Осипова в поддержку Солженицына окончательно решили вопрос его тюремной судьбы?

По моим предположениям, всё так называемое «Дело № 15» ЛенУКГБ за 1974 год являлось местной антисолженицынской акцией. У ГБ и другого начальства вырвали из клыков Солженицына: их логика требовала, чтобы вместо Исаака заклали ягненка — Эткинда, Марамзина, Хейфеца, Осипова с помощниками...

Помимо прочего, это рассматривалось как воспитательная процедура по отношению к остальным советским литераторам: да, Солженицына мы вынуждены были отпустить, но — его одного! А вас, солженицынских поклонников, сажали и сажать будем! Подробно я не буду здесь останавливаться на системе доказательств этой теоремы: нет ни времени, ни же-

лания, да и по тематике — уходит в сторону. Просто пусть пока предполагаемый читатель поверит на слово: вся наша группа предназначалась в «зиц-солженицыны». Поэтому я думаю, что именно выступление Осипова в его поддержку (пусть даже против Сахарова) оказалось последним толчком.

Одновременно с моим обыском и арестом в апреле 1974 года ЛенГБ обыскало ленинградских «вечевиков». Но Осипов (по его признанию в лагере) все еще не мог поверить, что дело завершится арестом. Видимо, он был слишком «стрессован» предательством и клеветой бывших единомышленников, чтобы замечать опасность со стороны ГБ.

— Это было такое... В моей жизни опыт этого времени равен, может быть, тому дню, когда осознал себя русским патриотом и переломилась жизнь — до этого дня и после него. И тогда, когда меня предали, — второй раз она переломилась.

Началась нервная горячка вокруг постановки нового журнала «Земля». Одновременно он много писал... В той обстановке, конечно, надо было тщательно прятать написанное или даже уничтожить его.

— А я все оттачивал каждую фразу, каждую букву — нравилось мне то, что в те дни написал. И со всем этим загремел в ГБ.

Конечно, как опытный человек, он предусматривал некоторые меры на случай ареста. Один из товарищей-единомышленников дал ему слово — в случае «изъятия» редактора продолжить журнал. Осипов крепко на него надеялся. Уже стоя перед судом, он призывал своих товарищей (и, прежде всего, этого редактора) издавать журнал, издавать «Землю». Но тот человек, хотя и был, кажется, честным славянофилом, выпустил без Осипова всего один номер, да и тот весь подготовленный еще Владимиром Николаевичем. Что тут явилось причиной: испугли нового редактора, профессиональная его недостаточность или

страх уже не редакции, а авторского актива — я не знаю. Осипов скрытно, но сильно переживает прекращение «Земли». Однажды вырвалось:

— Мы идем на минное поле. И, когда идешь, договариваешься с товарищем: если я взорвусь, ты уже знаешь тропу, по которой я шел, можешь от этого места пройти дальше. Если пройдешь еще хоть немногого, значит, и я недаром шел до того места, где взорвался. И если после меня он не пошел — обидно. Очень. Обидно тому, кто взорвался. Не за то, что тот струсили или не смог, — с человеком всякое может случиться, а за то, что раньше пообещал. Не надо обещать!!

В другой раз, когда мы обсуждали на крыльце пустого барака дело Петра Якира, Осипов сказал:

— Якир предал своих, а гебистов победил. Раз после его измены «Хроника» продолжается, победил он, а не ГБ. А я вот держался на следствии неплохо, мне не в чем себя упрекнуть, а победили они. Потому что ни «Земля», ни «Вече» не выходят...

Его арестовали на работе, в «пожарке», и привезли во Владимирское ОбЛУКГБ. На первом допросе, сразу после предъявления обвинения он встал и сказал: «Объявляю голодовку». — «Вы нас не запугаете», — завизжал следователь. Осипов голодал 14 суток, потом прекратил: «Знаешь, было неприятно, когда засохывали эту кишку в пищевод, — смущенно скривился. — Да я им показал уже свой характер». За весь период следствия он не подписал ни одного протокола, кроме единственного — того, в котором следствие *сняло* с него обвинение в передаче материалов журнала иностранным журналистам (этот допрос — отдельная и очень забавная новелла, но я вынужден кончить рукопись сегодня. Тоже — «на потом»).

Он читал в деле показания Светланы Мельниковой: «Мы, редакция «Вече», являлись русскими и советскими патриотами, признававшими правильность

линии... Но среди нас действовал антисоветчик Владимир Осипов, который пытался разлагать...»*. Читал показания Овчинникова, его «преемника», который темпераментно доносил на всех, на кого мог, но больше всего — на Мельникову! Читал показания Иванова-«Скуратова» — они были не лучше всех остальных («Потом он, на суде, когда понял, что его не будут привлекать, держался приличнее, но что за мерзости наговорил на следствии...»). Предали, продали. Не все — оставались и честные люди, но сколько вокруг дермана, трусов и предателей, сколько ренегатов!

Твердо и последовательно отрицая свою вину, он утверждал, что его действия и его журнал были «политически лояльными». Видимо, Осипов произвел сильное впечатление на Владимирский облсуд: ему выдали не максимум концлагеря (10 лет), а восемь, причем не дали дополнительной меры — ссылки, и режим определили не как рецидивисту «особый», а более легкий — «строгий». Все-таки город Владимир — город русский, и судьи русские; стыдно, наверно, им было судить русского патриота. Более того — окольными путями, уже после приговора, принесли ему судьи свои оправдания: пусть Осипов нас простит, больше снять со срока мы не могли. Что возможно — все сделали. А по первому делу он уже имел 7 лет, и по второму никак не мог получить меньше восьми. Вот если бы по первому приговору дали меньше, мы бы тоже меньше дали. А сейчас — просто не можем.

Не знаешь, кого больше жалеть — гордого и строгого подсудимого или этот несчастный, униженный суд...

* Агент, тем более, если ГБ хочет оставить его вне подозрений, не может дать таких показаний, приложенных к доступному обвиняемому делу. — Прим. Э. Кузнецова.

ПРИМЕЧАНИЕ, СДЕЛАННОЕ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

Очерк-интервью об Осипове я писал в марте-апреле нынешнего года. Закончил последние строки утром 21 апреля — в день начала стодневной забастовки с требованием Статуса политзаключенного, в которой участвовали мы с Осиповым. Все главы, написанные до «Вече», были им просмотрены и одобрены. «Вече» же я писал буквально в последние перед забастовкой дни, у меня не было времени их ему читать, и он был занят организацией борьбы (на нашей зоне он стоял во главе акции, задуманной на зоне № 3/5 Вячеславом Чорновилом). Просто он сказал: «Теперь я знаю, как ты пишешь, и доверяю». Но посылка, в которую была вложена рукопись, пропала при пересылке.

Оказавшись после забастовки в должности кочегара, я решил восстановить потерянную рукопись во время моихочных дежурств. Это очень трудно: Солдатова, которому посвящена первая глава, увезли в Таллин, на перевоспитание. Осипов тяжело заболел в карцере в страшно холодную ночь с 22 на 23 июля (мне повезло — именно в эту ночь у меня оказалась перемена между карцерами: вечером кончился срок, а снова посадили только утром). Его теперь увезли в больницу...

Но я все-таки восстановлю, что помню. Конечно, это не такая рукопись, как та, первая, — но что поделаешь: «Мы привыкли терять, и в этом наша сила», — как сказал Сергей Солдатов, узнав о пропаже посылки. Надо работать, пока есть условия: а то мой срок кончается, и, кажется, «дырка в заборе» для наших посылок может закрыться еще скорее.

На волю, конечно, хочется выйти. Но не лицемерю — тяжело уходить, оставляя товарищей в зоне. Иногда думаю: хорошо, что на волю здесь так же

этапируют, как и в другую зону: насилино. А если бы добровольно — кто знает, может, и не ушел бы. Нелепо, знаю. Но здесь в зоне вся жизнь нелепая.

Прощайте!

Писано в концлагері № 19 Мордовського управління концлагерей кочегаром-зольщиком Михаїлом Хейбенцем в августе-сентябрі 1977 р.

ПІДТРИМУЮТЬ «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКУ ЗАЯВУ»

В другій половині 1980 року в українській і російській пресі була надрукована «Російсько-українська заява» підписана 10-ма діячами. З української сторони під нею поставили підписи: Роман Барановський, Михайло Воскобійник, Роман Ільницький, Дмитро Корбутяк, Степан Процик, Марта Богачевська-Хом'як, Ростислав Хом'як. З російської сторони: Владімір Буковський, Наталя Горбаневская, Владімір Максимов (всі члени Ред-Колегії журналу «Континент», Париж).

«Заява» викликала живий відгомін серед української і російської спільнот, чого доказом є й те, що десятки українців і росіян зголосили свою підтримку для неї. Між зголосивими є політики, публіцисти, професори, письменники, поети, мистці, громадські і культурні діячі. Підписані росіяни — це найновіші емігранти-дисиденти з міцними зв'язками з російським народом і з поважними впливами на його публічну опінію.

Подаємо перший список заголосивих: (без наукових титулів):

Українці: Олекса Біланюк, Ярослав Білінський, Роман Борковський, Василь Витвицький, Олег Волянський, Йосип Гірняк, Василь Гришко, Михайло Добрянський (Англія), Олексій Коновал, Григорій Костюк, Дмитро Кузик, Анатолій Лисий, Юрій Луцький, Василь Маркусь, Ярослав Пеленський, Петро Потічний, Микола Радейко (Норвегія), Іван Лисяк-Рудницький, Роман Савицький, Михайло Смик, Атанас Фіголь (Німеччина), Олекса Яворський. (Крайна подана тільки при тих особах, які живуть поза США і Канадою).

Росіяни: Кронід Любарський, Галіна Салова, Вадім Нечаєв, Віктор Некрасов, Владімір Марамзін, Віолетта Іверні, Васілій Бетакі, Оскар Рабін, Александр Глезер, Кіра Сапгір, Ернст Неізвестний, Вадім Делоне, Владімір Аллой, Едуард Кузнецов, Валерій Чалідзе, Павел Літвінов. (Цей список був проголошений в 26 числі російського журнала «Континент», Париж).